

Мис Мария Метлицкая

– Рассказы разных лет –



Такова жизнь

Мария Метлицкая
Такова жизнь (сборник)

«ЭКСМО»

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Метлицкая М.

Такова жизнь (сборник) / М. Метлицкая — «Эксмо»,

ISBN 978-5-04-090901-8

«Такова жизнь». Сколько раз каждый из нас слышал, да и сам повторял эти слова, сетуя на несправедливость судьбы, невозможность что-либо в ней изменить. Герои рассказов, собранных в этой книге, прекрасно знают, что такое потери, разочарования, предательство. Но знают они и другое: жизнь стоит того, чтобы ценить каждое ее мгновение. Невозможно прожить без трудностей и проблем. Но без дождя не бывает радуги, без осенней грязи не бывает белого чистого снега. Черная полоса обязательно сменяется белой. Такова жизнь. И ее надо любить такой, какая она есть.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-090901-8

© Метлицкая М.
© Эксмо

Содержание

| | |
|--|----|
| На всю оставшуюся жизнь... | 6 |
| Такова жизнь | 21 |
| Ночной звонок | 29 |
| Закон природы | 39 |
| Зика | 42 |
| Параллельные жизни созвездия Близнецов | 46 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 47 |

Мария Метлицкая

Такова жизнь (сборник)

© Метлицкая М., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

На всю оставшуюся жизнь...

Квартира ровно напротив – дверь, что называется, в дверь. Она, дверь этой соседней квартиры, имеет вид... Доисторический она имеет вид. Это даже не совковый дерматин грязно-бурого цвета, нет. Просто родная деревяшка в царапинах и сколах цвета детской неожиданности, как говорят в народе. Да и замок... Чуть ли не навесной, из тех, что на шестисоточных сараях.

Но квартира – трехкомнатная, и я о такой мечтаю. Мы-то живем в однушке, и нас трое: муж, детеныш и я. Нам тесно, очень. Нет, и эта квартира – огромное счастье, потому что отдельная, без мамок и папок. Мы просто «крезы» по сравнению с нашими несчастными друзьями, проживающими с родителями. Но человеческая натура такова: хочу большего!

Я – не алчная пушкинская старуха, требующая золотую рыбку себе на посылки. И дворец мне не нужен. Мои мечты ограничиваются обычной малогабаритной трешкой с шестиметровой кухней и отдельной детской.

И еще я хочу второго ребенка. Точнее, этого мы хотим вместе с мужем. А в такой тесноте...

Бабушка твердит, что они рожали и в коммуналках. Свекровь вспоминает барак без воды и с печным отоплением. Кстати, в самом центре Москвы – там, где сейчас гостиница «Белград».

Я парирую:

– А хорошо ли вам там было? Комфортно, дорогие мои?

Тушуются. Причем – сразу. Вздыхают. Вспоминают, видимо, и свекровей своих незабвенных, и соседусшек милых.

Теперь по делу. В той трешке, что строго напротив, проживает один человек – Василий Васильевич Бирюков. Мастер цеха на авиационном заводе. Убежденный холостяк.

Родители его давно упокоились на Хованском, унеся с собой в могилу неизбывную тоску и печаль – Вася, сынок, не пристроен. Так и проживет, неразумный, всю жизнь бобылем. А сколько сватали! Да и какие девушки перед Васильком млели и глаза опускали!

Вот уж не знаю. Посмотришь на этого Василька... Ну, может, в молодости... Хотя и в это верится с трудом. Нынешний Василь Васильч – дядька сорока с лишним лет, угрюмый, неразговорчивый, в сандалиях фирмы «Скороход», коротких брючатах, клетчатой ковбойке и доисторических очках (ретро, конец пятидесятих).

После работы Вась Васич по прозвищу Бирюк торопился домой. В руке авоська – тоже анахронизм, – а в ней кефир в стекле, батон и кусок колбасы в серой бумаге.

Тетки на лавке кивали на Васино «здрате» и продолжали свои нескончаемые беседы. Бирюков интереса у них не вызывал. Вообще.

Говорили, что одна вдовушка из третьего подъезда к Васе как-то подъезжала. Крепкая такая, телом не бедная. Вася в ответ на ее призывы, очевидные всем, кроме него, бурчал что-то невразумительное – и пулей проносился прочь.

Еще одна соседка пыталась пристроить Василька к своей племяннице, старой деве из Старого же Оскола. Вася грубо тетку послал.

Кумушки у подъезда вынесли свой беспощадный вердикт: Вася болен. Неизлечимо. По мужской части. Ну и заодно – головой, это и так понятно. И Васю-Бирюка оставили в покое. Он облегченно вздохнул. А зря! На пороге его судьбы уже маячила я, но пока он об этом не знал.

А я заискивающе с ним здоровалась, с улыбочкой такой иезуитской:

– Здрате, Василь Васильч! Как драгоценное? Не подводит? Не надо ли вам чего? Мы вот тут на рынок собрались. Можем и вам прихватить. Не затруднит. Для соседа, так сказать. Пирожка с капустой, тортика «Киевского».

Вась Васич шарахался от меня как от прокаженной. Только увидит – сразу в дверь, угрем. Смотрит с опаской: что этой дуре надо?

Правильно, что с опаской. Этой дуре таки надо!

Я строила планы. Ох, как мы, женщины, любим строить планы! Просто замки на песке возводила сказочные. Кухня – мебель деревянная, светлая, теплая. Занавески в красную клетку. Такая же скатерть.

Спальня в зеленых тонах – говорят, успокаивает. Гостиная – тона... Ну пусть будет персик. И детская! Обои с гномами в разноцветных колпачках, стеллажи для книг и игрушек. А на потолке – звезды. Или солнце – еще подумаю.

И я начала капать мужу на голову – в смысле, сходи к Бирюку и поговори. Предложи обмен с доплатой.

– А зачем ему это надо? – удивился муж.

– Что значит зачем? Деньги стали никому не нужны? Отменили их, деньги, что ли? Вот что ему точно не нужно, так это трехкомнатная квартира!

– С чего ты взяла? – опять удивился муж.

– А на фиг? – вопросом на вопрос ответила я.

Идти на переговоры муж отказывался. Аргумент: «Ты же знаешь, я не люблю просить в долг, быть обязанным и вообще – что-нибудь просить!»

Он не любит! А я – обожаю! Особенно деньги в долг. Просто этим мужикам... Все делать, чтобы ничего не делать. Все ясно. Но и меня за просто так не остановишь. И я продолжала ежевечерние выступления. По-хорошему не получалось, что ж, ты мне не оставил выбора, как говорится.

Пошли попреки и укоры. Сравнения. Критика. Слезы. Стенания, мол, семья для тебя – поесть да поспать. Перекантоваться, одним словом. А я тут... Бьюсь как рыба об лед. И кухня эта мне тесна в бедрах. А второй ребенок? Маленькая такая... Доченька! Косички, бантики, заколочки с вишенкой. Платица с оборочками...

– Достала! – зашипел муж и рванул к соседу.

Я прильнула к двери. Слышно ничего не было. Вообще. Вот что такое стальная звуконепроницаемая дверь. Не обманули. А минут через десять я получила стальной и непроницаемой по лбу. Муж вернулся мрачнее тучи. Я поняла – сделка сорвалась.

– Чего? – спросила я.

– Того, – по-хамски ответил муж, что, кстати, ему несвойственно.

– В смысле? – я решила уточнить.

Правильно говорит моя мама: не умею я вовремя остановиться. Не умею.

– В смысле, что ты – того. – Муж опять хамил: покрутил пальцем у виска и пошел спать.

Рухнули мои мечты. Рухнули. Обрушились в одно мгновение, как ветхий дом при землетрясении в восемь баллов. Или – как обвал в горах. Камни и пыль.

Утром я решила обидеться. Надула губы и молча подала завтрак.

Муж мой ссориться не любит и к тому же отходчив. С набитым ртом, прихлебывая кофе, он поделился впечатлениями.

Вась Васич, по его словам, шуганый какой-то, недоверчивый к людям. Сказал – не обсуждается, у него другие планы. Ремонт вот в мае намечает. А дальше – вообще, перемена участи, что называется.

И попросил его больше не беспокоить. Никогда и ни по какому поводу.

– О как! Сильно. А какая там перемена участи? Жениться, что ли, собрался, пень трухлявый? – поинтересовалась я.

– А вот это его личное дело, – осадил меня муж. – Знаешь ли, милая, нельзя так бесцеремонно лезть в чужую жизнь! Ты ведь вроде хорошо воспитана. Неприлично! И вообще,

знаешь, какая у него квартира? Дерьмо. Стены масляной краской покрашены. Синего цвета. Лампочка Ильича в коридоре. Вместо коврика у двери – газеты разложены. И пахнет как-то... Кошатиной, что ли. И еще – рыбой вареной. Неблагородных сортов.

Утешил.

Ладно, черт с вами. Переживу. И будет еще у меня квартира, будет! И шторы в клеточку, и звезды на потолке! И зеленая спальня. И у тебя, сыночек мой бедненький, маленький, будет своя комната! С книжками и игрушками, с гномиками в ярких колпачках. Мамочка твоя постарается! Если уж папаша не смог!

В чужую жизнь лезть, видите ли, неприлично! А чтобы твоя родная семья страдала – это прилично?

Ладно, заносит меня иногда, признаю. Успокоюсь вот сейчас и опять буду девочкой из приличной семьи. Возьму себя, так сказать, в руки.

А уж этот Бирюков... Получит он от меня пирожка и тортика! И молочка при простуде! И чесночка при гриппе. Ненавижу.

Теперь, завидя Бирюкова у двери, я отворачивалась. Или цедила «здрасте» сквозь зубы.

Вскоре Бирюк зашевелился. Активизировался. Начал подтаскивать ведра и банки с краской, побелкой и лаками. Кисти, валики, обои. Всем стало ясно – Вась Васич готовится к ремонту. Опаньки! Неужто и вправду старый хрен задумал жениться?

«Старому хрену» было тогда слегка за сорок. Но и мне исполнилось всего-то двадцать пять. Есть оправдание.

Маляров и штукатуров Вась Васич не приглашал. «От жадности, – подумала я. – Жлоб, хмырь, упырь. Вот».

А жлоб, хмырь и упырь мотался челноком, как подорванный. Оживляж был такой, что все обалдели. И еще – улыбка на лице. Во весь щербатый бирюковский рот. И с кумушками у подъезда он раскланивался с усердием, чего раньше не было и в помине.

Все затаились, замерли. Что-то будет дальше...

Прошло три месяца. Бирюк закончил ремонт, и почти перестало вонять побелкой и краской. У входной двери он постелил затейливый коврик с зайцем из «Ну, погоди!».

Советовался с соседкой Ираидой по поводу покупки гардин и светильников. Ираида, работающая в торговле, была для него непререкаемым авторитетом.

От осознания своей значимости и от чувств-с соседка приволокла из отдела «Ткани» рулон гардин, похожий на гаубицу от пушки. Слесарь Витек поздно вечером, соблюдая законы конспирации, важно доставил чешский унитаз, вынесенный с соседней стройки.

И мы поняли: все готово. Вот только что за этим последует, не знал никто. Пока не знал.

Ранним июнем, в субботний теплый и солнечный день, во двор въехало такси, а следом за ним – маленький грузовичок с матерчатым тентом.

С заднего сиденья бойко, совсем как-то по-молодецки, выскочил Вась Васич, распахнул переднюю дверцу.

Из машины очень медленно, с явно видимыми усилиями, не без помощи радостного и дурашливо-счастливого отчего-то Бирюка, вышла, опираясь на палку, немолодая полная дама. Очень немолодая и очень – болезненно – полная, на очень тяжелых, распухших ногах. Несмотря на жару, на ней был надет светлый (габардиновый?), почти антикварный плащ, шляпка песочного цвета с откинутой вуалеткой, летние перчатки и высокие ботинки, не оставляющие сомнений в том, что обувь – лечебная и сшита на заказ.

Вась Васич бережно усадил даму на лавочку и бросился к грузовичку, из которого работы уже вытаскивали какой-то скарб.

Дама распахнула плащ, и взору открылась кружевная блузка с пышным жабо, прихваченным у шеи старинной брошкой. Потом незнакомка сняла перчатки и положила на колени пухлые, красивые, ухоженные руки в крупных перстнях. Женщина запрокинула голову к солнцу, и я смогла разглядеть ее лицо. Оно было прекрасно, несмотря на внушительный возраст дамы, морщины и по-стариковски выцветшие светло-голубые, блеклые, почти равнодушные глаза. Одухотворенностью своей, что ли? Отсутствием беспокойства и суеты?

А машину тем временем разгрузили. На асфальте стоял шкаф – деревянный, крепкий, из прошлой жизни. Комод – потемневший, но вовсе не ветхий, несколько изящных венских стульев, трюмо с резными лилиями, что говорит о стиле «модерн», плюшевое темно-зеленое кресло с вытертыми подлокотниками, горшки с фикусом и китайской розой и пара чемоданов – те, что называются фибровыми, коричневые, жесткие, с металлическими уголками.

Бирюков подбегал к даме и, видимо, интересовался ее самочувствием.

Потом грузчики бодренько затащили вещи, и Вась Васич спустился во двор, под локоток поднял свою гостью, и они медленно зашли в подъезд.

Из раскрытых окон гроздьями висели соседи. Во дворе воцарилось молчание. Можно сказать, гробовое.

Потом сплетницы пришли в себя, очухались и начали свое бла-бла.

Вывод был сделан – на невесту толстая старуха не тянет. Родственница? Да не было у Бирюковых такой приличной родни – все деревенские, лимитчики.

Тогда кто? Ответа не было. Даже предположений и тех не имелось.

Муженек мой пошутил: может, он геронтофил?

Может. Все может. Но не верилось как-то, при всем моем бабском злоязычье и нелюбви к Бирюку.

Новую жилищку окрестили, естественно, «Мадам». А она и вправду была мадам. Всегда при прическе (хилые старческие волосы неизменно уложены), обязательно губная помада, яркий лак на ногтях, запах духов. Серьги, брошки, кольца. И еще – одно сплошное достоинство.

На скамейку она не садилась, выносила с собой раздвижной матерчатый стул, точнее кресло, а еще точнее, кресло это выносил сам Бирюков. Так наша соседка сидела при хорошей погоде часами. Иногда вставала и медленно, осторожно, опираясь на палку, прохаживалась по двору. В ней не было никакой напыщенности, чванства, презрения. Здравовалась и прощалась она с неизменной мягкой улыбкой. А вот в разговоры не вступала. Никогда.

Единственное, что про нее узнали, – это имя и отчество: Амалия Станиславовна.

А Вась Васич... Этого стали кликать «Блаженный», потому что видок у него был точно – блаженный. На лице постоянно тихая и счастливая улыбка слегка помешанного человека. Носился теперь Бирюк с удвоенной скоростью. Руки тянули тяжелые авоськи с фруктами, соками и пирожными.

Однажды я наблюдала такую сцену в нашей булочной (а тогда были булочные. И еще какие!): Вась Васич долго и тщательно мучил продавщицу в отделе тортов и пирожных.

Диалог был примерно такой:

– А картошечка свежая? А эклерчики? Сегодняшние? А «Наполеончик»? С заварным кремом?

Продавщица, суровая и грозная Фатима, испепеляя Бирюкова взглядом, гаркнула:

– Да все сиводнящие! Бери, старый черт, не сомневайся!

Бирюк радостно кивнул и пошел пробивать чек.

«Видимо, – подумала я, – мадама евойная охоча до сластей. В ее-то возрасте да с ее-то весом!»

Все – загадка неразрешимая, тайная тайна. Вот уж Бирюк! Озадачил, так озадачил. И никаких ответов – одни вопросы. Позвать бы мистера Холмса! Или – на крайний случай – доктора Ватсона. Но их рядом не было. А была только тихая пожилая дама, полная непередаваемого достоинства, и еще – окрыленный, не в меру счастливый Вась Васич Бирюков.

* * *

Семнадцатилетний подросток Вася Бирюков особых надежд не подавал. Да и, честно говоря, никто на него особенно не рассчитывал.

Отец с матерью приехали покорять столицу после войны. С радостью рванули в город, намучившись в деревне от голода и тяжелой работы. Им представлялось, что жизнь в городе будет несравненно легче деревенской. Но оказалось все далеко не так. Устроились на завод, работали посменно, даже им, привычным к физическому труду, было непросто. Дали комнату в бараке – удобства и вода во дворе. Пьянство и драки с утра до вечера. А тут Антонина Бирюкова забеременела. Васька родился еще в бараке. Через три года Тоня Бирюкова родила дочку Леночку. Василий-старший радовался как ребенок – по ночам вставал, молоко на керогазе грел, пеленки стирал. Говорил: «Птичка моя!» Тоня даже злилась – все больше сыновей любят, а этот на девке помешался. За Ваську-маленького обидно! Прожили они в бараке долго, девять лет. А потом – счастье! От завода дали квартиру, да еще и трехкомнатную.

Во-первых, двое разнополых детей, а во-вторых, глава семьи, Василий, достиг определенных высот: стал начальником цеха.

Переезжали налегке – как и все в те годы. В грузовичке с открытым верхом ехали Бирюковы всем семейством, а с ними фикус в два метра, шифоньер, стол со стульями и завернутые в простыни вещи – носильные и спальные причиндалы.

Зашли в квартиру и ахнули. Антонина села на табуретку и заплакала. Дети носились по комнатам, где гуляло гулкое эхо.

Со временем купили и холодильник, и телевизор. Зажили наконец как люди. Василий-старший был мужиком серьезным, работающим и основательным. Тоню свою любил крепко и на других баб рта не разевал, да и пил умеренно – по праздникам. Вернее, не пил – выпивал. Летом, в отпуск, отправлялись на старом горбатом «Запорожце» в деревню. Там было полно родни, сохранился крепкий родительский дом. Тоня копалась в огороде, Василий ходил в лес и на озеро – по грибы и на рыбалку. Тоня закатывала банки с компотами и соленьями на зиму, дети резвились с деревенской родней и друзьями.

Вечером Тоня выходила за околицу и присаживалась на лавку – потречать с бабами. Те жаловались на пьющих и бестолковых мужей, на дурных детей, на тяжкую деревенскую жизнь. Тоня помалкивала. Умная была – не хвастала и никого не учила. Просто понимала, что и с мужем повезло, и с ребятами. А уж про квартиру – газ, теплую воду и белый унитаз – и говорить нечего. Счастливый билет вытянула Тоня.

О том, как все было сложно в столице, особенно по первости, она старалась не вспоминать. Знала, что ничего и никогда с неба не падает. Им, по крайней мере, точно.

Бабы смотрели на Тоню с завистью – фифа столичная! Босоножки на каблуке, купальник эластичный. Да нет, не босоножкам и купальнику (правда, красивому – жесткий и колючий эластик, зато синий в полосочку и худит! Так худит, словно двоих и не рожала!) завидовали бабы. Предметом их зависти были столичная жизнь, отдельная квартира и непьющий муж. А Тонька совсем не задавалась! Ни капельки! И в огороде раком стояла, землей не брезговала. Корней своих не забывала. Просто судьба у нее полегче. Везучая.

Сглазили бабы. Сглазили. Накаркали беду на Тонино счастье. Леночка заболела, дочка. Бледнеть стала, слабеть. Все в постель тянуло. Придет из школы – и спать. От еды отказывалась – поклюет, как птичка, и все, хватит. Хирела девка на глазах.

А когда положили в больницу, оказалось – опоздали. Поздно опомнились.

– Куда ж вы, мамочка, смотрели? – укорил Тоню врач.

У Леночки оказалась лейкемия. Протаскались год по больницам, и умерла дочка. В гробу лежала – как дитенок пятилетний. Совсем высохла.

Василий Бирюков жене Тоне этого не простил. Говорил:

– Ты девку запустила. И какая ты после этого мать?

Выпивать крепко начал, с женой скандалить. На Ваську смотрел зверем – будто тот виноват, что Леночки не стало. А малой и сам плакал: по сестренке скучал и еще мать жалел. Совсем сдала, в старуху превратилась. Седая вся, плачет и таблетки пьет. И Васька, и так молчун и скрытник, совсем ушел в себя. Сидел в своей комнате, книжки читал да радио слушал. Вот эту пластиковую черную коробку на стене, с двумя ручками – звук и программы – он полюбил больше всего. Для него это был выход в мир, ранее неизвестный.

Слушал Вася и стихи в исполнении любимых артистов, и рассказы, и постановки. Но больше всего ему нравились передачи музыкальные – «В рабочий полдень» и «По заявкам трудящихся». Тогда он впервые услышал ее. Ее голос. Ее имя. Просто какое-то сказочное сочетание слов – Амалия Клубовская.

А голос ее... Сердце Васино замирало – от счастья, восторга, нежности и почему-то неясной тревоги.

Теперь он караулил свою Амалию. Представлял ее себе. Казалось Васе, что она маленькая тонюсенькая брюнетка с фиалковыми глазами и длинными, очень черными, загнутыми ресницами. Легкая, почти невесомая, летит по земле, почти ее не касаясь, туфельки, прозрачные чулочки-капрон, на узкие плечи наброшена пушистая шубка. А на темных волосах тают снежинки.

А-ма-ли-я! Имя-то какое! Не имя – песня. Стихи. Воздух и легкий ветерок. Бриз морской.

Впрочем, какой там бриз! Моря Вася отродясь не видел. Только в кино, если честно. Но любить свою Амалию от этого меньше не стал. Невозможно было. Все девицы – во дворе, в школе, просто прохожие – казались Васе грубыми, уродливыми и тупыми. Такими, как Амалия Клубовская, они быть не могли. Теперь Вася знал все партии певицы наизусть.

Слушал ее, закрывая глаза. Когда диктор объявлял «Амалия Клубовская, меццо-сопрано», у Васи Бирюкова начинала кружиться голова.

Мать с отцом про его тайную страсть ничего не знали – каждый жил своей, теперь уже несчастной, жизнью. Мать все болела, отец пил и ездил на кладбище к дочке Леночке. На Васю внимания не обращали – не до того. Не шляется, не пьет по подворотням, учится кое-как, да и ладно. А что друзей и девок нет – так что с того? Значит, время не подошло. У всех по-разному.

Вася закончил школу и поступил в техникум. Да и слава богу! В армию не взяли – большая близорукость. Выучится – пойдет на завод. А там и невесту найдет. Какие его годы!

Выучился и пошел на завод. Династия, так сказать. А вот с невестой не получалось. Не было по-прежнему у Васи никакой невесты. Да и просто подружки тоже. Придет с завода, молча съест ужин – и к себе. Включит пластинки и музыку свою слушает.

Мать с отцом удивлялись – и что к этому радио и пластинкам прилип? Ни компаний, ни свиданий. Живет как в скиту, ей-богу. Чудной получился парень, странный. И беспокоиться начали, переживать. Особенно – Антонина. А что толку? Не сдвинешь его, Ваську, с места. И вправду – чистый Бирюк, как есть.

И откуда такой получился? Непонятно. Словно и не бирюковский, чужой какой-то. Не было у них в роду ни фантазеров, ни романтиков. Из песен любили Гуляева, Лещенко, бело-

руса Евдокименко. Юрий Богатиков красиво пел про русскую землю, душевно. Да, еще нравился этот чукча смешной – «Увезу тебя я в тундру!». А в Васькиной музыке Антонина не разбиралась. Нытье какое-то заунывное. Только тоску нагоняет. А тоски у нее, у Тони... Целый товарный состав.

А однажды песни его любимой Амалии передавать перестали. Он не на шутку испугался – может, случилось что? Заболела его царица? Или еще что пострашнее?

Тоска и беспокойство погнали Васю в Радиокomitee. Как попал в редакцию музыкальных программ – отдельная история. Но попал. Редакторша, немолодая и грузная дама, явно восточных кровей, курила папиросу в янтарном мундштуке и с иронией поглядывала на Васю.

Он мялся, жался и никак не мог выразить свою мысль.

Редакторша начала с места в карьер:

– А в чем, собственно, претензия? В том, что эту Клубовскую мало ставим в эфир? Так это для вас мало. А нам вполне достаточно. У нас таких, как ваша Клубовская, – целая фонотека. Да и кто она такая, чтобы ей отдавать предпочтение? Обычный рядовой исполнитель. Есть еще и Вишневская, и Образцова, и Архипова. Вот это – царицы! Куда там вашей Клубовской! Они, с вашего позволения, солисты мирового уровня.

Вася вспыхнул, как факел, и задрожал от возмущения и обиды.

– Купите пластинку и слушайте свою приму, – тут редакторша усмехнулась, – хоть до... И вообще, не мешайте мне работать. Ничего с ней не случилось – уверяю вас. Как была, так и есть. В Ла Скала ее точно не пригласили. А голос мы ставим в записи, так что про передвижения Клубовской нам ничего не известно. – Она вынула папиросу из мундштука, загасила ее в большой хрустальной пепельнице и уткнулась в бумаги.

А Вася, незадачливый наш герой, с места не сдвинулся.

Дама подняла на него глаза и приподняла красивую узкую бровь.

– Что-нибудь еще?

Вася кивнул:

– А адрес? Вы можете дать ее адрес?

Дама медленно поднялась из кресла, одернула полу джерсового пиджака и, нервно кашлянув, сказала:

– Вот вам мой совет, молодой человек! Займитесь каким-нибудь делом! Женитесь, наконец! Вы уже вполне созрели! Родите ребенка. И еще – выбросите всю эту чушь из головы! Ну какое вам дело, где живет Клубовская и что с ней? Кто она вам? Совершенно посторонний человек. К тому же – немолодой. Знаете, с какого она года? Вот именно! Не знаете! И вообще, ничего про нее не знаете. И я вам больше скажу – и знать вам ничего не надо! Ни-че-го! – Она замолчала, посмотрела на Васю, и сердце ее, видать, дрогнуло: уж больно тот был жалок. – Ладно, пишите. Сущевский Вал, дом... квартира...

Вася, сжимая в руке бумажку с адресом, забыв поблагодарить даму, выскочил за дверь.

Итак, адрес был. Но тут Вася Бирюков испугался. Не на шутку, надо сказать. Ну купит он букет цветов и коробку конфет – если достанет. Ну приедет на Сущевский Вал. А дальше что? Откроет ему дверь здоровенный мужик. Или – не здоровенный. Какая разница, если тот мужик окажется мужем прекрасной Амалии? Швырнет ему конфеты в лицо и даст цветами по морде. Да еще и обсмеет – дескать, много вас здесь таких ходит, желающих на мою красавицу взглянуть хоть одним глазком. Вас много, а она одна. Что ей, со всеми здоровкаться?

Еще Вася представил толпу поклонников у подъезда – красивых, молодых, высоких и богатых. И он: тощий, кривоногий, мелкий, зубы частоколом, волосы ежиком. Джинсы индийские, ковбоекка из «Детского мира». Сандалии, носки горохового цвета. И стало Васе так стыдно и неловко, что в носу зашипало и даже слеза выкатилась.

Однако через три месяца посетить квартиру на Суцевском Валу он все-же решился. Позвонил дрожащей рукой в дверной звонок – не открыли. Из соседней квартиры выглянула остроносая дама в бигуди.

– Вам кого? – недовольно спросила она.

Вася пробормотал имя своей чаровницы.

Соседка повела острым осетровым носом.

– Нет ее. Съехала. С мужем разошлась и съехала. Он ее из квартирки-то попросил. – Она довольно ухмыльнулась.

– А куда съехала, неизвестно? – проскрипел Вася.

– Нет, – с удовольствием ответила тетка. – А если бы и было известно? Тогда что?

Он не ответил.

– Не на Ривьеру, разумеется, – продолжала соседка. – На выселки отправилась. Куда ж еще? Генерал, муж ее бывший, человек строгий. Не ужились – прощайте! Устраивайтесь теперь сами как можете. Вместе со своим... – Тут она оглянулась и покраснела. За ее спиной стоял высокий мужчина в спортивном костюме и выразительно смотрел на нее.

Ойкнув, она быстро захлопнула дверь.

Всего две пластинки было. Две всего ее пластинки. На черной блестящей пластмассе – сплошные царапины от иглы. Пластинка заедала и шипела. Вася подскакивал, хватался за иглу. Протирал хрупкую поверхность бархатной тряпицей. Все равно заедала.

Мать врывалась в комнату и кричала:

– Когда это все кончится, господи!

Он не отвечал.

Слышал, как мать говорит соседке:

– И за что такое наказание? Один на кладбище, а второй – тоже вроде его и нет. Сидит как в склепе. Ни бабы ему не нужны, ни радости в жизни. Вот была бы жива Леночка... – И мать начинала плакать.

Соседка утешала и шептала:

– Врачу надо твоего Ваську показать! Разве непонятно – сумасшедший!

– На аркане тащить? – вскрикивала мать. – Не дождусь я внуков, не дождусь.

Отец с ним почти не разговаривал, да и с матерью тоже. Приходил с завода, долго мылся в ванной, молча съедал ужин и шел к телевизору.

Мать, глотая слезы, убирала со стола.

Как-то разболелось горло. Пошел в медпункт. Молодая, точнее совсем юная, сестричка с розовыми волосами подскочила к нему и попросила открыть пошире рот. Потом залилась пунцовой краской, намотала на металлическую плоскую палку шматок ваты, окунула его в банку с чем-то, похожим на йод, только тянучим и жирным, и ловким движением протолкнула эту конструкцию в широко открытый Васин рот.

Вася поперхнулся и закашлялся.

– Люголь, – коротко бросила медсестричка, опять покраснев.

Он поблагодарил и пошел к двери.

– Завтра приходите, – пропищала она.

Вася оглянулся.

– На процедуру!

Он пришел и назавтра, и еще – послезавтра. Так ходил всю неделю.

Медсестричку звали Любой.

Жила она в Одинцове – совсем близко от Москвы.

Однажды он взялся ее проводить. Ехали в автобусе молча, потом молча шагали по мокрой размытой дорожке. Шел дождь – мелкий, осенний, противный. Зонта у него не было, а Люба зонт раскрыла и пролепетала:

– Иди сюда. Совсем вымокнешь.

Он неловко пристроился сбоку. Люба взяла его под руку. Он почувствовал ее тонкую руку и острое бедро. Было неловко и неудобно.

Подошли к калитке частного дома – низкого, грязно-серого, кривоватого. По жестяной ржавой крыше звонко стучал усилившийся дождь.

– Пойдем, чаю выпьешь, – предложила Люба. – А то опять простудишься – вон, мокрый весь.

Они поднялись по шаткому скользкому крыльцу. В доме было натоплено, пахло горячей едой. Из кухни вышла молодая женщина, очень похожая на Любу, только постарше и помясистой.

– Сестра моя, Галя, – представила Люба.

Галя вытерла об фартук руку и протянула ее Бирюкову.

Ужинали картошкой с луком и яичницей с салом. Галя плюхнула на стол бутылку водки. Выпили по первой, и они с Любой сразу захмелели. А Галя все разливала и укоряла:

– Ну и че ты за мужик, если с полстакана копыта готов отбросить?

Он смутился и выпил еще – разом, ожегшись.

Первую допили вдвоем с Галиной – Люба спала на столе, уронив голову на руки. Галина достала еще бутылку, уже початую. Наливала и смеялась:

– Ну, посмотрим, какой из тебя герой!

Пить не хотелось. Хотя – нет. Было уже все равно. Все равно было и когда Галина, подняв его с табуретки, потащила в комнату.

Он плюхнулся на кровать с никелированной спинкой, перед глазами плыли и набухали гулкие и тяжелые черные круги.

Галина, стягивая с него рубашку и брюки, опять приговаривала:

– Ну, посмотрим, какой из тебя мужик!

Сопротивляться сил не было. Все, что он запомнил, – это ее тяжелое, несвежее дыхание, большую, мокрую от пота грудь, ловкие жесткие руки и огромный шрам поперек живота, фиолетовый, нервно выпуклый и шершавый.

Еще он помнил Любин крик – пронзительный и невыносимо громкий. И невообразимые, ужасные слова, каких Вася не слышал даже от мужиков на заводе. Тяжелая, площадная брань и страшные проклятия младшей сестры. И ответная брань старшей – не менее ужасная в своей посконности и простоте.

Потом началась драка, и гремели чем-то железным – это было совсем невыносимо, от всего происходящего тошнило и разламывалась голова.

Потом Люба тащила его по полу во двор, пинала ногами и требовала подняться.

Встать на ноги он не смог. Люба еще раз его пнула и ушла в дом. Дальше он ничего не помнил.

Проснулся от холода – голый, насквозь мокрый, измазанный в раскисшей глине. Качаясь, поднялся и зашел в дом за одеждой.

Пока собирал с пола брюки, носки и рубашку, сестры уснули на одной кровати, под одним одеялом, из-под которого торчали босые ноги – маленькая и узкая ступня Любы и большая, широкая, с облупившимся на ногтях красным лаком Галинина.

Галина, громко всхрапнув, шумно перевернулась на другой бок. Люба тихо пискнула и прижалась крепче к сестре.

Все. Ему хватило. На всю жизнь. Вспоминать без содрогания «провожалки» в Одинцово было не то чтобы противно – омерзительно и тошнотворно.

Любу Вася больше не видел. Говорили, что она выскочила замуж за младшего лейтенанта и уехала в Среднюю Азию.

А Васина жизнь вошла в прежнюю колею. Женщин он теперь не просто сторонился – он их смертельно боялся.

А потом умерла мать. На похоронах отец шумно плакал и просил у нее прощения.

После смерти матери их жизнь почти не изменилась – так же молчали, только ездили на кладбище вместе. Но и там молчали.

А через полгода отец привел в дом женщину. С порога объявил – жену. Женщина эта была немолодой и какой-то сильно потрепанной. Потом Вася понял – пьющая, и сильно. Когда с похмелья – лучше не подходит. Да он, правда, и не подходил. Заряжалась она с «утреца» – как выпьет, так и побреет. Суетиться начинает, веником махать, тряпкой. Щей наварит, блинов напечет – полчаса, и горка в полметра.

Зовет его:

– Васька, иди пожри хоть, пока горячие!

Он шел – голод не тетка. А к вечеру – она совсем «тепленькая». Ждет отца и на шею кидается. Тот смущается, руки ее скидывает. А она его – в спальню. А оттуда... Он затыкал уши – не помогало. Такие звуки, как из преисподней. Ее рык, отцовский рык. Не любовь – зверство.

А однажды... Она возникла среди ночи в его комнате – пьяное и растрепанное чудовище. Сев на край кровати, дыхла перегаром. Улыбка – дикая, безумная, глаза такие же.

– Иди сюда, иди! Погрею тебя, сынок. Побалую. – Она, скинув с себя халат, протянула к нему руки.

Вася в ужасе подскочил на кровати, закричал от испуга и омерзения. В комнату ворвался отец. Замер на пороге, а потом рванул – к ней, к этой... Схватил за волосы и ударил об стену. Она осела на пол – с той же дикой улыбкой, вытерла ладонью кровавую юшку с губ и сплюнула выбитый зуб.

Отец ее выгнал в ту же ночь. Она билась в дверь и рычала. Соседи вызвали милицию. Больше эту тетку они не видели – как в воду канула. Да и слава богу! Вы говорите – любовь. Какая любовь? Опять – одно зверство, собачий вой и запах мокрой псины.

А вот у него – любовь. Теперь он понимал, что это такое, какое это восхищение! Какая нежность!

И все-таки свою Амалию он нашел! Еще раз съездил на Сущевский, позвонил в соседнюю дверь – не к той, «остроносой». Открыла старушка в седых букольниках, провела в квартиру – было видно, от скуки дохнет. Налила чаю, поставила печенье. Стало понятно, что настроена на разговор, торопиться ей некуда.

Рассказала про «Амалькиного генерала», старше ее на двадцать лет, солдафон из солдафонов, «даже руку на Амальку поднимал».

– Но – все было! В смысле, в доме: и прислуга, и черная икра, и шубы из норки. Но Амалька тосковала. Генерал этот... Зверь, а не человек. Даже ребенка не дал ей родить, изверг. Петь не разрешал, говорил: петь будешь поутру, на кухне – для меня. Ее тогда еще и на концерты приглашали, и в театр звали. А он – ни в какую. Я твой господин. Точка. Вот Амалька и загуляла. От тоски. Спуталась с одним... Слова доброго не скажешь. Пустой человек. Только деньги из нее тянул. А тут она забеременела. От этого, молодого.

Он в кусты. А генерал, Тихон Петрович, почуял неладное. Затеял расследование, все выяснил. И выгнал Амальку в полчаса, даже вещи не дал собрать. Она тогда у меня ночевала, две недели, от генерала пряталась – боялась его. И на аборт побежала. А срок был большой, очень большой. Врачи не брались. Нашлись добрые люди – дали акушерку подпольную. Я Амальку туда и свезла – под Коломну, в деревню. Обтяпали дело, а она свалилась. Там, в

Коломне, в больницу и загремела – на второй день, с кровотечением. Еле с того света вытащили. А потом к тетке уехала, в Калинин. Она и сама оттуда. Голос у нее пропал. Совсем тогда пропал. А больше ничего она не умела – только арии свои петь. Тетка тоже прикурить ей давала, характер у нее был – не приведи бог! Все куском хлеба попрекала. Амалька мне тогда еще писала. Что делать? Работать пошла, в школу, домоводство преподавать. Руки у нее были способные – и шила, и вышивала. Это тогда Амальку и спасло. Еще вязать научилась – с того и кормилась.

А потом замуж вышла. Ну, не по-настоящему, без расписки. Только бы от тетки уйти. Мужчина оказался приличный – столярничал у них в школе. Только дети его Амальку не приняли. Ненавидели ее, все задеть норовили. А мужчина тот вскоре умер, через пару лет, и детки его Амальку из дома выперли в один миг. Она снова к тетке. А та уже старая, про себя подумала – не про Амальку. Прописала ее. А потом опять издеваться взялась. В общем, намучилась Амалька с ней... Та пять лет лежащая была. А потом, слава богу, на тот свет отправилась. И тут Амалька вздохнула, зажила наконец.

– А генерал? – спросил он.

Старушка вскинула брови.

– А что генерал? Что ему будет? Женился через год, и опять на молодой. Старый дурак! А та его быстро на тот свет собрала – через полтора года. И живет сейчас по соседству. С новым мужем.

– А она? – хрипло спросил Вася.

– Кто? Амалька? Да там же, в Калинин. Сюда больше не приезжала. Писала, что в Москву эту – ни ногой! Тихо живет, в теткинском доме. Бедно. Болеет много. Ноги не ходят, и глаза плохо видят. Пишет редко – раз в год. Не жалуется, нет. Только все равно видно – плохо ей там. И одиноко.

Старушка отдала ему пустой конверт от последнего письма. С адресом.

* * *

Через год после той кошмарной ночи, когда его пыталась соблазнить страшная отцова сожительница, отца он похоронит. Останется совсем один. В одиночестве справит свое сорокалетие, пойдет на повышение на заводе. И только спустя три года отправится в Калинин.

Он сойдет с поезда рано утром, умоется холодной водой в вонючем привокзальном туалете, почистит зубы, пригладит мокрой ладонью непослушный ежик волос, протрет ботинки чистой салфеткой, смущаясь, достанет из дерматиновой синей сумки с олимпийскими кольцами одеколон «Саша». Неумело, а оттого много, выльет на себя – впервые – «мужские духи», поморщится от непривычного резкого запаха и бросится к бабкам, торгующим на перроне самодельными букетиками из собственных садов.

Нет, денег было не жалко – деньги имелись. Просто ему не нравились ярко-красные бездушные георгины, холодные, безароматные гладиолусы, растрепанные и пестрые, слишком дешевые на вид астры.

Он метался от бабки к бабке, нюхал букеты, тут же находил недостатки – этот подвявший, этот хилый какой-то, а тот – невзрачный.

Бабки цыкали на него и громко смеялись:

– Свататься приехал, голубь? Дык староват ты для молодого!

Наконец, совсем измучившись и окончательно смутившись, он схватил у самой тихой букет крупных ромашек («Садовые, не бойсь», – успокоила бабка) и бросился прочь с вокзала.

Потом он нашел гастроном («Центральный», – важно объяснили ему) и купил торт, огромный, слишком торжественный и оттого неуместный, и бутылку вина «Токай» («Сладенькое и вкусненькое», – объяснила молодая продавщица в накрахмаленном халате).

На улице он сел и закурил, отирая со лба пот. Было совсем по-летнему жарко, словно и не сентябрь на дворе. «А, бабье лето, – вспомнил он. – Такое бывает».

Выкурив три сигареты подряд, он подошел к постовому и назвал адрес. Молодой румяный сержант махнул рукой на автобусную остановку.

Автобус ехал недолго, но медленно. Было невыносимо душно, бечевка от торта сильно резала ладонь.

Он сошел на нужной остановке и опять закурил. Улица была окраинная – одноэтажные частные домишки с маленькими чердачными мутными окнами. Зеленые палисадники, пока еще маскирующие пышной зеленью кустов хлипкий некрашенный штакетник. Колонка с водой и расплывшейся лужей. Дед с палкой на лавке у дома, двое мальчишек на велосипеде, молодая мать с коляской и книгой, отчаянно пытающаяся стряхнуть сон.

Он оглянулся, поискав нужную сторону улицы, и направился к дому. Дед на скамейке лениво глянул на Васю и отвел глаза. Молодая мать остановилась, провожая незнакомца любопытным взглядом. Мальчишки с гиканьем пронеслись мимо.

А он стоял у серого забора и мучительно вглядывался в глубь заросшего сада. Там стоял дом. Нет, не дом – домик. Домишко. Как и все в округе – чуть косой, припавший почему-то на правый бок, с почерневшей шиферной крышей, с тремя маленькими окошками на улицу и ржавой жестяной бочкой под водостоком.

Он наконец толкнул калитку и вошел во двор. На веревке, между двумя старыми яблонями, висели простыня, наволочка и ночнушка – большая, в мелкий синий горох, с кокетливым бантиком на груди. Ему отчего-то стало невыносимо стыдно, и он отвел глаза. Постучал в дверь, и оттуда сразу же раздался низкий, густой, медовый голос:

– Открыто.

Вася вошел и от волнения закашлялся.

– Доктор, вы? – услышал он все тот же голос.

Вася стоял столбом и молчал.

– Да кто там? – В голосе почувствовалось раздражение. – Ты, Петрович? Что молчишь, болван? Осип? Осип осип, Архип охрип, – звонко рассмеялся медовый голос.

– Нет! – почти выкрикнул он. – Не Петрович и не Осип.

– А кто же? – В ее голосе не чувствовалось никакой тревоги – одно кокетство.

Он опять закашлялся.

Через минуту услышал скрип пружинной кровати, тяжелый вздох и отпрянул к стене.

Ситцевая занавеска, отделяющая небольшую прихожую от комнаты, раздвинулась, и на пороге появилась женщина. Было видно, что она нездорова: температурный румянец на щеках, потный лоб, обметанный лихорадкой рот.

– А вы кто? – спокойно спросила женщина, поправляя царственным жестом воображаемую прическу.

Он хрипло проговорил:

– Я от Ремизовой, Натальи Ивановны, вашей бывшей соседки.

– А-а! – протянула она так, словно гонцы от старушки посещали ее не реже раза в неделю.

Оба помолчали.

– Ну, давайте пить чай, – она кивнула на коробку с тортом.

Прошли на крошечную кухню: стол, покрытый старой клеенкой в коричневую клетку, двухконфорочная плита, дряхлый буфет с посудой, два шатких венских стула.

Амалия повернулась спиной, чтобы поставить чайник, и тут же обернулась:

– А трубу вы починить можете? Течет вот тут, под мойкой. – Она озабоченно нахмурила брови. И, чуть смутившись, продолжила: – И вот горелка что-то барахлит, правая, один свист, а газа нет.

Вася радостно закивал. Чай пили молча, так, пару вопросов про бывшую соседку. Скоро пришел врач, и Амалия удалилась с ним в комнату.

Потом Вася бегал в аптеку, в магазин и на рынок. Чинил плиту и трубу, опять пили чай, и она призналась, что по причине нездоровья сильно устала.

Амалия ушла к себе, а Вася отыскал в сених старую ржавую косу, покосил пожелтевшую уже траву за домом и спереди, обрезал сухие ветки у яблонь и кустов, жидкой метлой, как смог, вымел двор и, умаявшись, сел на крыльцо – покурить.

Спал он на узком топчане на кухне. Нет, не спал – слушал звуки дома и ее дыхание, свистящее, хриплое, с частыми всплесками сухого, отрывистого кашля.

Подскочил под утро – когда наконец почти уснул, – она просила пить. Погрел молока – Амалия пила медленно, по-девичьи наморщив нос.

А утром – утром она попросила кофе:

– Без кофе я, знаете, вот просто не человек!

Кофе не оказалось. Он бросился в «Центральный», словно забыв, что кофе наряду со всем остальным уже давно был в Красной книге советской гастрономии.

Продавщица в накрахмаленном халате узнала вчерашнего покупателя и улыбнулась. И Вася – впервые в жизни! – стал умолять ее и откуда нашел такие слова:

– Ну хотите – на колени встану?

Она смутилась, оглянулась и нырнула в подсобку.

Вышла красная и испуганная:

– Не в кассу, нет. Давайте сюда.

– Кофе был – вос-хи-ти-телен! – ее слово. – Настоящая арабика. И помол такой мелкий!

Сто лет такого не пила – одни опилки последние годы.

Теперь она смотрела на него с любопытством:

– Вон вы какой! А с виду... Такой скромный мальчик!

Его слегка резануло – «мальчик». Впрочем, счастья Васиного это не отменило. Ни на одну секунду!

После завтрака Василий вынес во двор старое кресло – Амалия села, укрыв ноги ватным одеялом, и зажмурила глаза.

– Просто как вдовствующая королева! – Она задорно улыбнулась. – Ох, и во дворе – чудеса! – снова изумилась Амалия. – Вы – мой ангел, Вася! Мой добрый ангел!

А Вася... Он был на седьмом – восьмом, десятом, сто пятнадцатом – небе от счастья.

Никогда, никогда Вася не помнил такого. Даже в детстве – далеком и почти нереальном, когда живы и здоровы были еще все: и мать, и отец, и Леночка, когда были покой, семья, поездки в деревню к родне, рыбалка с отцом на заре, поход за грибами ранним утром по холодку, по росе. Когда были подарки под елкой, запах пирогов с капустой, маминых духов и табака от крепких отцовских рук...

Никогда он не чувствовал себя таким счастливым. Ни разу в жизни.

Он не замечал ничего. Просто не видел – словно ослеп от радости и счастья. Ни ее возраста – увы, вполне почтенного. Ни ее грузности, больных и опухших ног, ни второго подбородка – дряблого и отвисшего. Ни ее курного «картофельного» носа, жидкого пучка волос – ничего. Ровным счетом.

Она была прекрасна, величественна, горделива. Ее не сломали ни бедность – почти нищета, – ни предательство мужчин, любимых и нелюбимых, ни возраст, ни одиночество, ни болезни. Она не потеряла вкуса к жизни, маленьких радостей, способности удивляться, восхищаться, смеяться.

И голос ее – по-прежнему звонкий, глубокий, с растяжкой, модуляциями, молодой, кокетливый, «хрустальный» – жил своей жизнью, отдельно от тяжелого, неудобного, уже такого немилого тела. Отдельно от нее.

Через три дня он уехал. Амалия вышла на улицу и смотрела ему вслед.

Когда Вася неловко залез в дряхлый, урочно урчащий автобус, она помахала рукой.

Теперь каждую пятницу он ездил в Калинин. В нем открылись удивительные для него самого качества «доставалы». То вез он ей теплую кофту (мохер беж, большие пуговицы – китайское чудо), то польские тапки, мягкие и теплые, добытые с большим трудом, просто неревальная удача. То махровый халат, выпрошенный у соседки почти со слезами. То коробку печенья с фруктовой прослойкой, то чай со слонами. Колбаса – венгерская салями пугающе-красного, неестественного, почти несъедобного вида. Курица из заказа. («Ах, какой бульон! А запах! Только не кладите моркови, умоляю вас!») То кубачинский серебряный браслет с чернью. Вот повезло, заскочил в ЦУМ – и нате вам!

Браслет, правда, был маловат и не очень садился на полную руку.

Теперь, став профессиональным «доставалой», он знал почти наверняка, что в Смоленском по вечерам «выбрасывают» свежие огурцы и сыр с плесенью, в ГУМе в последние дни месяца (обязательно, план) – какой-нибудь импорт. В польской «Ванде» за кремом и помадой надо занимать очередь с семи утра, а в Доме обуви Вася даже завел приятельницу – так, для дела, понятно. Пятерка сверху – и пожалуйста, теплые сапоги.

– Для жены? – интересовалась кокетливо она.

Вася буркал что-то несуразное и неловко совал свою пятерку.

А еще покупал духи! Франция, чистая Франция. И запах! Просто целая охапка ландышей! Вот духам она радовалась больше теплой кофты, уютных тапок и острой на вкус, слишком перченной деликатесной салями.

Женщина! Истинная женщина – вот кто была она.

Теперь Амалия наряжалась к его приезду – юбка, блузка с брошкой, помада на губах. Выходили в хорошую погоду на променады – доставалась шляпка с вуалью, светлые перчатки, легкий шарфик, чуть забахромившийся по краям. Они шли под руку: Амалия медленно, с явным усилием, Вася – подстраиваясь к ее шагу. Он не видел ни ее несовершенства, ни возраста, ни немощи, ни разу не вспомнив про тот образ сказочной Белоснежки, который придумал когда-то: темные локоны до плеч, перехваченные яркой лентой, распахнутые синие глаза в черных и густых ресницах, изящный вздернутый носик, сердечко алых губ, тонкие запястья, изящные и легкие ноги.

Об этом Вася просто забыл.

И зимой, и по ранней весне она часто мучилась бронхитами. Дом был холодный, продувной. Из старых, разохшихся рам сифонило так, что не помогали ни вата между створками, ни газетная лента, приклеенная к окнам крахмальным клейстером. Полы застелили кое-как новым линолеумом. Но все равно – дуло. Да еще и вода ледяная, и печка-пенсионерка.

Вот тогда... Тогда Василий и решился. Не потому что устал мотаться. Хотя, конечно, устал. А потому что просто хотел ей облегчить жизнь. А это у него получится, Василий не сомневался!

В первый раз он себя чувствовал мужчиной. Не неудачником и нелепым растяпой Васькой Бирюком, а мужчиной.

А что такое мужчина? Тот, кто отвечает за чью-нибудь жизнь.

Боялся он смертельно: а вдруг не согласится, откажет?

У нее – польская гордыня. Вдруг всколыхнет непокорное сердце обида? Вдруг не захочет принять, расценит как жалость?

Нет, зря боялся. Она, конечно, разволновалась, запричитала совсем по-простонародному. Но через десять минут твердо произнесла:

– Да, я согласна. Теперь я, Вася, без вас – никуда.

Никакого кокетства – какое кокетство при ее-то разуме! Практичность-то ее польскую никто не отменял!

В общем, решили переезжать.

Легко сказать! Но Вася за дело взялся лихо!

Дальше все известно – и про ремонт в квартире, про переезд и так далее.

* * *

Амалия все так же выходила во двор, шурилась на теплом солнышке, мило улыбалась соседям и по-прежнему не вступала в досужие разговоры.

А Вась Васич Бирюков был по-прежнему активен, бодр и весел.

И еще – бесконечно, отчаянно счастлив!

А квартиру мы поменяли, через два года, нашли в том же доме, в соседнем подъезде. И с Вась Васичем я теперь раскланиваюсь вполне мило, без всякого камня на душе.

Да и какой там камень, право слово! У всех своя жизнь. И свои проблемы.

И дай бог, чтобы они всегда решались по-человечески, по мере наших возможностей и еще – желаний.

Такова жизнь

Мы знаем друг друга сто лет. Или больше. Знаем друг про друга даже то, что, в общем-то, ни к чему.

Мы сидим на балконе в ее парижской квартире и пьем красное вино 2003 года. У нас есть тема: Катькина дочь Алька выходит замуж. Впрочем, темы у нас есть всегда.

Итак, Алька выходит замуж. Да еще за кого, за графа! Событие эпохальное, что говорить. Мы ждем Альку, а пока ее нет, обсуждаем жениха и будущих родственников. А там есть что обсудить. Граф-папа, графиня-мама. Родственники. Катька хрипловато смеется: семейка давно обеднела, но изо всех сил стараются держать «лицо» – семейный замок, балы, приемы... Заодно папа служит нотариусом, а мама держит свой магазин.

Сын, он же графский отпрыск и будущий муж, хорош собой (даже слишком, говорит Катька), прекрасно воспитан и изыскан. Все от него без ума, считается, что Альке крупно повезло.

Катька посмеивается, щурит на солнце свои прекрасные бирюзовые глаза, закидывает голову и смахивает рукой набежавшие на лицо волосы. Знакомые жесты. Я смотрю на Катьку и понимаю, что ближе человека на земле нет.

Распахивается входная дверь, и на пороге появляется Алька. Она бросается ко мне, и мы долго обнимаемся. Она целует меня по-парижски – три раза, не снимая пальто, плюхается в плетеное кресло и начинает громко верещать. Я смеюсь над ее акцентом и люблю ее.

Глядя на Альку, я постигаю каноны современной красоты. У Альки узкое лицо, высокие скулы, чуть узковатые и удлиненные к вискам глаза, широковатый короткий нос и крупный, слишком крупный, красивый рот. Из-за этого рта Катька называет дочь Буратино. Алька очень высока и, конечно же, худа как щепка, словом, вылитый Тьерри, Катькин муж. Алька окончила Сорбонну и не раз побеждала на каких-то конкурсах красоты типа «Мадемуазель Сорбонна» и еще что-то там подобное. Она еще и модель, ее снимают для каких-то журналов, и на улицах Парижа висят постеры с Алькой, где она рекламирует коричное печенье.

Она смешно коверкает слова, пьет зеленый чай и ругает мать за то, что та много курит. Интересуется моей жизнью и моими детьми – и я вижу, что ей это действительно интересно.

Алька порывиста, и у нее немного резкие движения, и, несмотря на свои двадцать, она все еще немного напоминает подростка. Она показывает мне эскизы свадебного платья – что-то изысканное: кремовое, тонкие кружева и атласные ленты. Мы бурно обсуждаем платье, спорим из-за всякой ерунды и даже слегка ругаемся. Потом Алька показывает фотографии своего Гийома – и я вижу прекрасное, тонкое и умное лицо ее жениха. Почему-то я плачу, и Алька нежно меня обнимает.

Так мы сидим час или два, и нашу идиллию прерывает пришедший Тьерри, Катькин муж и, соответственно, Алькин отец.

Алька бросается к отцу на шею, и они уходят в его кабинет. Катька загадочно и счастливо улыбается. Мы молчим и все понимаем.

Я думаю о том, что в жизни, слава богу, есть справедливость. Всеми своими бедами и горестями Катька давно расплатилась по счетам, даже с лихвой, и сейчас наконец может расслабиться и наслаждаться жизнью. Она замужем за прекрасным человеком, у нее чудная дочь, квартира в шестнадцатом округе и неплохой счет в банке.

– Алька чудесная, – говорю я.

Катька кивает.

– Знаешь, она такая искренняя и живая, – продолжаю я. – Настоящая, в общем.

Катька счастливо прикрывает глаза.

– А как у тебя с Тьерри? – спрашиваю я.

– Ты не поверишь, – отвечает она, – но все по-прежнему здорово. Словно не прожита жизнь длиною в двадцать лет. Я по-прежнему скучаю по нему. Представляешь?

Катька наклоняется ко мне и тихо шепчет:

– И там у нас тоже все здорово. Все еще интересно. Ты можешь себе такое представить?

Катька откидывается в кресле и смеется. И я вижу, что она действительно счастлива. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай ей бог, она так этого заслужила!

Потом Катька уходит на кухню кормить мужа. Возвращается Алька. Она уже без пальто, но кутается в плед – на улице ранний октябрь, еще тепло, но к вечеру свежее.

– Я такая мерзляка! – смеется Алька. Она берет мою руку в свои и кладет голову мне на плечо.

– Любишь его? – спрашиваю я.

Алька долго молчит. А потом пожимает плечом и тихо шепчет:

– Я не знаю.

Она опять молчит, а потом резко встает и тихо говорит:

– Понимаешь, я не знаю. Я вообще не знаю, что это. Или мне кажется, – сомневается она. – Он, конечно, хороший, нет, он прекрасный. Но, понимаешь, я не дрожу, когда он берет меня за руку.

Алька смотрит на меня и явно чего-то ждет.

Я осторожна. Боюсь навредить.

– А ведь должно быть так, чтобы я дрожала, а? Или нет? – сомневается она. – Ну, знаешь, как в книжках, ты меня понимаешь?

Я молча киваю.

– И иногда я думаю, что вот проживу с ним целую жизнь и ни разу, слышишь, ни разу меня не будет колотить от его прикосновений. Разве это правильно?

Она смотрит на меня во все глаза, и в них я вижу тревогу и сомнения. Что я могу сказать? Я бормочу что-то о том, что семейная жизнь – это совсем другое, как важны корни, устои, семья, традиции...

– Не ври! – строго говорит она. И я чувствую себя полной идиоткой.

Катька зовет нас ужинать. Стол накрыт в столовой. Темная старинная мебель, кое-где изъеденная жучками, камин, желтый шелк гардин, мягкие уютные кресла, торшеры с приглушенным светом. Стол накрыт по-русски: грибочки, пирожки, борщ, баранья нога.

Алька снова весела, Тьерри сдержан и любезен, а Катька подкладывает мне в тарелку утиный паштет и мажет хрупкий багет деревенским маслом.

– Боишься, что похудею? – смеюсь я.

Их семейке это точно не грозит.

Мы опять пьем вино, болтаем обо всем, а за окном живет своей жизнью лучший из городов – прекрасный Париж.

* * *

Все лето мы живем на даче. Нас привозят в мае, даже если еще не очень тепло и льют дожди. Дети должны дышать воздухом. Это незыблемо.

Наши семьи – соседи по даче. У нас общий забор. Я живу с бабушкой и дедушкой, Катька – тоже. Но по субботам ко мне приезжают родители, папа и мама. К Катьке не приезжает никто. Отца у нее нет – был, да сплыл, говорит Катькина бабушка, а мать «в бегах» – это тоже слова бабушки. Что такое «в бегах», я не очень понимаю, но по обрывкам подслушанных разговоров узнаю, что Катькина мать сбежала с «очередным хахалем». Куда-то далеко, на Север.

Катьку растят дед с бабкой. Живут бедно, что такое две стариковские пенсии? А Катькина мать даже не пишет. «Стерва», – говорит моя бабушка. «Шалава», – добавляет Катькина.

Мы часто зовем Катьку на обед. Ее бабка целый день в огороде «кверху задом», а дед продает на станции огурцы и смородину. Моя бабушка читает книги и вяжет бесконечные свитера, а дед вечерами играет на скрипке – он скрипач и преподаватель в музыкальном училище.

Мы с Катькой висим на заборе и пристаем к прохожим с дурацкими вопросами. Нам очень весело. Мы варим кукольный суп из подорожника и рябины, шьем кукольные чепчики и строим шалаш. У нас прекрасная жизнь.

В субботу мы бежим на большак встречать моих родителей. Я вижу, что Катька грустит и в глазах у нее стоят слезы. Мне ее жалко, и я отдаю ей своего любимого мохнатого одноглазого медведя Мишу, с которым спала с двух лет. Это немного утешает Катьку, а мне до слез жалко Мишу. Я страдаю, и сердце мое рвется от жалости к Катьке и тоске по Мише.

Мы растем – и у нас появляются первые романтические истории. Сначала мы обе дружно влюблены в соседского мальчика Славу. Слава – из профессорской семьи, он умен, красив и прекрасно воспитан. До нас ему нет никакого дела. Мы важно прогуливаемся возле Славиного забора и нарочно громко смеемся – привлекаем к себе внимание. Слава читает на веранде и смотрит на нас как на идиотов. Впрочем, почему как?

Мы бегаем на станцию за мороженым, и я пытаюсь дозвониться маме. Катька отходит от автомата и что-то чертит босоножкой на песке. Я понимаю, что ей позвонить некому, – и мое сердце затопляют нежность и жалость.

Но кончается лето – и мы разъезжаемся по домам. В течение года мы обязательно созваниваемся каждую неделю, а на выходные иногда встречаемся, шлемся по центру, едим мороженое в кафе и, конечно, мечтаем о любви.

Я поступаю в институт – а Катьке не до учебы. У нее умирает дед и совсем слепнет бабка. С утра Катька разносит почту, а вечерами работает натурщицей в Строгановке. Видимся мы теперь реже. Я явственно чувствую разницу между нами. У меня – ни забот, ни хлопот. Институт, мальчики, подружки. Мне не надо думать о куске хлеба и тарелке супа, о новых туфлях или пальто – на это у меня есть родители. Катька заботится о слепой бабке и сама зарабатывает на жизнь.

Но нет, мы не теряем друг друга. Ближе подруги у меня по-прежнему нет. Просто жизнь немного развела нас – слишком она разная у нас, эта жизнь.

Теперь летом я на даче редкий гость – на каникулах я уезжаю на море, а Катька и вовсе дачу сдала – понятно, им очень нужны деньги.

Однажды Катька приезжает ко мне – и я не узнаю ее. И так тоненькая, она еще больше похудела, глаза горят, смолит одну сигарету за другой. Она очень измученная и нервная. И еще очень голодная.

Пока я грею обед, она съедает кастрюлю холодной гречки, стоящей на окне.

Она торопливо рассказывает, что у нее сумасшедший роман. Абсолютно сумасшедший. Он – скульптор, гений (кто бы сомневался?). Она почти все время проводит у него в мастерской – они просто не могут друг от друга оторваться. Она бы совсем перебралась к нему – но не может бросить бабку. Она рассказывает мне все в деталях и в подробностях, и я смущаюсь – *такого* опыта у меня еще нет. Что там мои свидания с мальчиками из соседней группы? Она называет его по фамилии, Ганецкий, говорит, что он сказочно красив, талантлив, нежен, без конца лепит ее портреты и называет своей музой.

Ну, в общем, все понятно. Я вижу, что Катька, моя бедная Катька, совсем потеряла голову.

Конечно же, она тащит меня в его мастерскую, в маленький пыльный подвал в районе Чистых прудов.

Там я вижу Катьку сидящую, лежащую, стоящую, обнаженную и в одежде – словом, Катька везде и всюду. Ганецкий хорош собой – крепко сбитый, с сильными руками ремесленника, синеглазый, с короткой русой бородой, рваные джинсы и растянутый вязаный свитер.

Он заваривает нам чай, глубокомысленно курит трубку – и по всей мастерской витает запах вишневого листа. Он почти не обращает на нас внимания – рассеянно ходит по мастерской, переставляет работы, месит глину...

Мы с Катькой пьем чай и тихо, как мыши, перешептываемся.

– Ну, как тебе? – одними губами спрашивает Катька.

Я пожимаю плечами. Она обиженно машет рукой, мол, ничего ты не понимаешь.

Потом Катька надолго пропадает, да и у меня куча разных дел.

Через три месяца она появляется на пороге моей квартиры – и я пугаюсь ее вида. Она «черная лицом» – теперь я понимаю значение этого выражения. На исхудалом лице горят необыкновенные Катькины глаза. Покачиваясь, она садится на табуретку и просит кофе.

– Может, поешь? – предлагаю я.

Она мотает головой:

– Ничего не лезет.

И рассказывает, что Ганецкий выгнал ее, потому что, ясное дело, у него завелась баба. И еще что у нее, у Катьки, срок два с половиной месяца.

– Какой срок? – торможу я.

– Тот самый, – тихо говорит Катька.

– И что делать? – я пугаюсь.

– Не знаю, – плачет Катька. – Срок большой. А рожать я не буду.

Я долго увещаю ее, что надо родить, ведь от любимого же, и говорю про то, как страшно делать первый аборт.

Катька неожиданно говорит:

– А жить вообще страшно. Ты не заметила?

– А что Ганецкий? – спрашиваю я.

– Умней вопроса на нашлось? – огрызается Катька. – Сказал, твои проблемы.

Мы, конечно, нашли врача, опытного. На большом сроке Катьке сделали аборт. В больнице она лежала тихая и бледная, не плакала, просто смотрела в одну точку.

В Строгановку она не вернулась, сказала, что «не может видеть всех этих». Пошла работать в ЦУМ, продавщицей в отдел сувениров. Объяснила, что на людях ей легче.

Она ни с кем не встречалась, говорила, что все еще любит Ганецкого и что на сердце – одна сплошная кровавая рана.

Однажды неумело попыталась вскрыть вены – потом испугалась, и у нее хватило сил позвонить мне. Я прибежала одновременно со «Скорой».

Катьку положили в психушку с диагнозом «острая депрессия». Там она пробыла почти месяц, потом еще месяц провалялась на диване лицом к стене. Лекарства не помогали.

Спасла ее слепая бабушка – за ней надо было ходить, кормить, убирать. Пришлось подниматься. Потихоньку ходила в магазин, в аптеку, готовила еду. Говорила почти шепотом, сильно дрожали руки и ноги, совсем не было сил. Ни о какой учебе и речи не шло – надо было кормить себя и слепую бабушку.

А через год она собралась замуж за Тьерри. Познакомилась с ним, понятное дело, на работе: он покупал какие-то сувениры – матрешки, самовары, встречались три дня, потом он прилетел через полгода и сделал предложение. Долго ждали всякие бумаги, собирали кучу справок – но, слава богу, поженились, и Катька укатила в Париж.

Из Парижа она писала восторженные письма: «Все клёво, сказка, сказка, хожу по Елисейским Полям. Пью кофе на пляс Пигаль. Ездили в Ниццу. Загорали в Провансе. Отметились на фестивале в Каннах».

Через два года Катька благополучно родила Альку.

Впервые я приехала к ней в гости, когда Альке исполнилось два года. У Катьки было все – квартира в шикарном районе, дом в деревне (видели бы вы эту самую деревню!), серебристый

«Пежо» в гараже. Тьерри ее обожал, его родители относились к ней терпимо, а это уже немало, Алька росла веселым и спокойным ребенком.

Как-то вечером мы сидели одни на кухне и пили чай.

– Ты счастлива, Катька? – спросила я ее, понимая всю глупость своего вопроса.

Она долго молчала, а потом ответила:

– Знаешь, теперь я точно знаю, как выглядит счастье. И несчастье. – Она опять замолчала. – Но не могу тебе сказать, когда я больше была счастлива: теперь, в счастье, или тогда, в нищете, убогом быте и унижении. Это страшно и дико, но теперь я понимаю, что тогда я тоже была счастлива. По-другому, понимаешь?

Я кивнула. Я все поняла.

В Москву Катька не приехала ни разу. За могилами деда и бабки ухаживаю я. И я раз в два года езжу к Катьке в Париж.

После ужина мы пьем итальянский ликер «Лимончелло». Потом Катька убирает посуду, Тьерри смотрит телевизор, а мы с Алькой шушукаемся у нее в комнате.

– Уговори родителей отпустить меня в Москву, – просит Алька. – Ну, пока я еще свободный человек. Понятно, что мой будущий муж не захочет ехать в Россию. Он говорит, что в мире столько прекрасных мест, жизни не хватит объехать. Наверно, он прав, но я ужасно хочу в Москву. Все хочу сама увидеть – и ваши дачи, где прошло ваше детство, и все-все. Понимаешь?

Я все понимаю, и Альку в том числе. Но затевать этот разговор с Катькой, честно говоря, боюсь. Вообще, на разговоры на тему Москвы наложено табу. Катька постаралась забыть *ту* жизнь, и кто ее за это осудит? Слишком много горя и страданий осталось у нее *там*.

А Алька продолжает меня упрашивать. И, вздохнув, я обещаю ей поговорить с матерью.

Мы сидим с Катькой на балконе и, укутавшись в пледы, пьем вино. Я начинаю свой опасный разговор. Катька, конечно, заводится с полоборота.

– Ни за что, никогда, невозможно, забудь!

Я пытаюсь мягко ей втолковать, что ничего такого в этом нет. Жить Алька будет у меня, мы покажем ей город, поведем по музеям, походим по театрам. Да и вообще Москва сейчас – центр Вселенной. Что там ваш Париж – деревня, стоячее болото.

– Ну, сделай ей подарок перед свадьбой – девочку можно понять. И даже порадоваться, что ее тянет туда, откуда ее корни. Пусть погуляет перед свадьбой, вдохнет глоток свободы, наберется впечатлений. И будет так тебе благодарна! И не затаит на тебя обиды!

– Мне наплевать, – жестко говорит Катька, – и на ее впечатления, и на ее обиды.

И прикрывает тему.

Приходит Алька. Я только развожу руками. Алька расстраивается, но надежды не теряет. Не было еще такого, чтобы она не вытянула из матери того, чего хочет. В конце концов, подтянет тяжелую артиллерию – отца. Уж он-то ей точно не сможет отказать.

Я уезжаю через неделю – ждут семья и дела. А еще через две звонит счастливая Алька и сообщает, что купила билет в Москву. Встречайте тогда-то.

Я звоню Катьке. Рассказываю, что готовим для Альки комнату – сын на время съедет к приятелю.

– Еще чего! – возмущается Катька. – Из-за блажи этой козы никто вас стеснять не собирается! Не сравнивай твою квартиру и мою! Жить эта стерва будет в отеле, в центре. Пусть шляется. Там все рядом. Метро вашего боюсь. И не напрягайтесь, вы все рабочие люди. Решила сама – вот и пусть сама, – раздраженно говорит подруга.

Я смеюсь.

– Ну да, бросим твою дочь, как же! – А потом серьезно говорю: – Не психуй, Катька. Этот город сейчас вполне безопасен. А вообще, что говорить, небезопасно сейчас везде. Не думай о плохом. Все будет кока-кола! Успокойся, Катюш!

Катка тяжело вздыхает.

Конечно, Альку мы встречаем всем семейством. Конечно, готовим праздничный обед, везем на машине показывать Москву. Естественно, я беру отпуск на неделю.

Ходим в «Современник» и в «Табакерку», в Пушкинский и в Третьяковку. Ездим в Абрамцево и в Кусково, гуляем в Архангельском. Покупаем сувениры в Измайлове. Обедаем в ресторанах с русской кухней. Алька – благодарнейший гость. Всему радуется, везде находит позитив. Восхищается Москвой, ненавязчива и корректна. Чудная девка!

Я звоню Катке каждый вечер, докладываю в подробностях обстановку. Катка понемногу успокаивалась.

Через неделю мы отпустили Альку в свободное плавание – всем надо было на работу. Она уже неплохо ориентировалась в пространстве. Разработали программу, и я велела Альке звонить ежевечерне – отчитываться матери и мне.

Первые четыре дня она исправно докладывает, а потом пропадает. Мобильный недоступен, в номере ее нет. Мы сходим с ума и бьем тревогу.

Наконец она объявляется. Я хватаю такси и мчусь в гостиницу.

Алька долго не открывает дверь. Выходит заспанная. В час дня. Я высказываюсь по полной программе. Алька плачет и извиняется.

– Где ты шлялась? – грозно вопрошаю я.

– Садись, умоляю, не кричи, пожалуйста. Сейчас я тебе все расскажу. Мне очень стыдно, но я ничего не могла поделать. Понимаешь, со мной случилось *такое*!

Алька закрывает глаза и замолкает, потом встает и начинает ходить по комнате.

Смешная, тоненькая девочка в пижаме с утятами. Растрепанные волосы, красное пятно от подушки на щеке. Босые детские ступни с розовыми пятками. Просит у меня сигарету и неумело пытается закурить, закашливается. Заказывает в номер кофе. Идет в ванную и умывается холодной водой.

Мечется по номеру, как птица в клетке. Потом начинает говорить, горячо и сбивчиво. Я сразу понимаю: ее жизнь катится в тартарары. Вся ее спокойная, размеренная и благополучная жизнь.

Алька влюбилась.

– Помнишь, – спрашивает она, глядя мне в глаза, – я говорила тебе, что не знаю, люблю ли я Гийома? Ну, ты еще спросила, а я не смогла тебе ответить, – напоминает Алька.

Я киваю:

– Что-то помню, да, что-то было.

– Так вот! – Алька останавливается, со стуком ставит на стеклянный столик чашку с кофе и торжественно объявляет: – Так вот! Я поняла: Гийома я не любила и не люблю!

Потом она садится на пол возле моего кресла, по-турецки складывает свои бесконечные ноги, берет мою руку и говорит тихо, печально и очень серьезно:

– Я влюбилась, Ната. Теперь я знаю, что такое, когда от любви колотит, когда стучат зубы, как от страха. Когда холодные руки – и ты ничем не можешь их согреть. Когда совершенно не спишь ночью – просто ни одной минуты. Когда любишь весь мир. И веришь, что жизнь необыкновенна, понимаешь?

Я киваю. Я все понимаю. Я вижу перед собой абсолютно потерянного, но счастливого человека. Я сама испытывала это не раз. Почему же она не имеет на это права? Я понимаю, что за славного Гийома Алька не выйдет никогда. Слишком тонка, правдива и чувственна эта девочка. Я понимаю, что сейчас она рушит свою благополучную жизнь, и понимаю, что она имеет на это полное право. Я думаю о том, что будет с Каткой и Тьерри, когда они узнают эту новость. Про их обязательства перед той семьей, про свадебное Алькино платье из тончайшего шелка и ручных кружев, про общественное мнение, про потерю реноме, про расходы и затраты.

Да наплевать! Наплевать на все это! Может быть, это счастье, что случилось так и сейчас и что не будет бракосочетания в мэрии и пышного ужина в родовом замке. Что не будет еще одного несчастного человека или даже двух. А Катька... Катька должна понять свою единственную дочь. Сначала, конечно, повопит, а потом поймет. Ведь это Катька. Моя Катька! Уж если не поймет она...

Я вижу перед собой горящие Алькины глаза – и я в полном смятении. Ругать ее? За что? Радоваться вместе с ней? Да, скорее всего. Но для начала хорошо бы прийти в себя.

А меж тем Алька рассказывает мне о своем любимом. Конечно же, он самый необыкновенный, самый красивый, самый умный, самый нежный, самый талантливый. Познакомились они в Манеже на выставке. У него своя галерея. Он богат и успешен. Он любит ее. Он хочет от нее ребенка. И вообще, готов с ней прожить всю жизнь.

– Ты не веришь, что так бывает? – испуганно спрашивает она.

– Наверное, – уклончиво отвечаю я. – Но когда все так быстро и сразу – возникают сомнения, понимаешь?

Она не хочет ничего понимать. Она боится разговора с матерью. Она одна в своем счастье и несчастье – и если я не поддержу ее сейчас, то я предаю ее. Она умоляет меня поговорить с Катькой, уверяет, что все более чем серьезно. Переживает за то, что придется разрывать помолвку, – ведь ей безумно жалко бедного Гийома. Почти верит, что *здесь* у нее все получится. Почти. А даже если не получится, за Гийома она все равно не выйдет и будет всю жизнь благодарить бога за то, что он дал ей все это испытать.

Она смеется и через минуту плачет. А мое сердце рвется от жалости к этому ребенку. Я не знаю, что делать и как отвечать ей. Я хочу ее поддержать и не уверена, что это правильно. Я боюсь разговора с Катькой. Боюсь, как ребенок, до ужаса. Чувствую свою вину. Глажу Альку по голове и реву вместе с ней.

Наревевшись, мы обнимаемся. Она целует меня и благодарит. За что? «Бедный ребенок!» – мелькает у меня в голове.

Потом она достает из бара бутылку вина. Мы пьем, и она говорит:

– За счастье!

Я глупо киваю и хочу поверить в то, что счастье обязательно будет. Очень хочу.

Потом мы долго лежим на кровати, и я глажу Алькины волосы, и ее голова у меня на плече. Она всхлипывает и засыпает, а я лежу в своих невеселых мыслях. Господи! Что же делать? Что делать, Господи, помоги! Во всяком случае, мне ясно одно: разговор с Катькой начну я, и я не смогу не поддержать этого ребенка. В конце концов, вся моя жизнь выстроена не по разуму, а по чувствам, и я ни разу не пожалела об этом. Всякое, конечно, бывало, но я твердо убеждена в одном: жить надо только с любимым человеком. Это, если хотите, мое кредо. Имею право.

Я тихонько встаю с кровати, укрываю спящую Альку пледом и иду в ванную курить. Кто-то стучит в дверь. Черт возьми, сейчас разбудят мою девочку – а ей так нужно поспать! Я подлетаю к двери и открываю.

Я узнаю его сразу. Сразу – хотя узнать его невозможно. Он стоит на пороге в белом костюме и с букетом ромашек. Он идеально выбрит, и у него прекрасная стрижка, ухоженные руки, и от него пахнет дорогим одеколоном. Он безупречен, белый костюм так идет к его загорелому лицу. Весь его внешний вид говорит об успешности и благополучии.

У него такие же яркие синие глаза. Совсем не выцветшие. На нем написано крупными буквами, что жизнь удалась.

Он хочет пройти, но я стою на его пути. Он улыбается и, конечно, меня не узнает.

– Это невозможно! – тихо говорю я.

Он удивленно вскидывает брови.

– Это невозможно, – повторяю я и бессильно припадаю к дверному косяку.

Он растерян и смотрит на меня с удивлением.

«Господи! – думаю я. – Ну неужели тебе было мало? Ну неужели тебе нужна еще одна жертва? Неужели ее мать не расплатилась за все сполна? Наперед! При чем тут этот ребенок и что теперь со всем этим делать? Бедная Катька, бедная Алька. Бедный Тьерри и Гийом. Бедная я! Как нам всем выбираться из всего этого? Как теперь с этим жить?»

Я закрываю глаза, и мне кажется, что меня больше нет.

Ему в конце концов надоедает этот безмолвный концерт, он делает шаг к прихожей. Я оглядываюсь в комнату и вижу, как безмятежно, свернувшись калачиком, со счастливой улыбкой на лице спит Алька.

Я снимаю с вешалки плащ и сумку и на дрожащих ногах выхожу в коридор. Я пока не знаю, что мне делать, но знаю одно: сейчас мне *там* места нет. Я выхожу на улицу и вижу, как не по-осеннему теплый ветер кружит в веселом танце желтые и красивые кленовые листья.

Я медленно иду по улице и пытаюсь прийти в себя. Мне это плохо удается. Я знаю наверняка только одно: Катька не должна узнать всю эту жуткую правду, не должна. А что с этим всем делать, я абсолютно не знаю. Первый раз в жизни я совершенно не понимаю, как поступить. Я, зрелая и разумная женщина, с о-го-го каким жизненным опытом. Впрочем, что там опыт, когда жизнь преподносит такие сюрпризы?

Я сажусь на лавочку и чувствую, как сильно я устала. Ну просто совсем нет сил. Я вижу синее, чистое и ровное небо, неяркое осеннее солнце и идущих мимо меня людей. Я думаю о том, как в номере гостиницы сейчас проснулась бедная Алька и что нет человека на свете счастливей ее.

«Может, еще рассосется?» – с тоской думаю я, потому что думать о другом мне просто откровенно страшно. Ведь несмотря ни на что, в душе я отчаянная трусиха. Наверное, как все мои сестры. Которые, все до одной, хотят одного – быть счастливыми. Но получается это, увы, не у всех.

Ночной звонок

Звонок раздался в полпервого ночи, когда Николай Петрович, приняв, как всегда, изрядную дозу снотворного, уже почти засыпал. С сильно бьющимся сердцем он схватил телефонную трубку и испуганно оглянулся на жену, которая резко развернулась и села на кровати.

– Эллочка? – шепотом, прижимая руку к сердцу, спросила она.

Он мотнул головой – в трубке звучал совсем незнакомый голос.

– Николай Петрович, – на том конце провода закашлялись, – Николай Петрович, пожалуйста, извините. Я все думала, стоит вам звонить или нет... – Голос замолчал. – Но все-таки подумала и решила, что позвоню.

Он услышал, как женщина на том конце провода сильно затянулась сигаретой.

– Это Лена, – сказала она.

– Какая Лена? – не понял он.

– Лена Голейко. Дочка Елизаветы Семеновны, Лизы. – Женщина опять замолчала и жадно затянулась.

Он молчал.

– Дело в том... – протянула она. – В общем, дело в том, что мама умерла. Третьего дня. Похороны завтра. Остроумовская больница. В десять утра. – Она опять замолчала.

Он тоже молчал, хотя понимал, что это ужасно глупо.

– Я не знаю, правильно ли я сделала, что позвонила вам, – повторила она. – Поверьте, я долго сомневалась, но решила, что да, позвонить все же надо. Ну а там – как вы решите. Никто в обиду не будет. Ни я, ни тем более мама. Ей-то наверняка уже все равно, – вздохнула она.

– Я понял, Лена, – наконец ответил он. – Я все понял. Спасибо, что вы позвонили. Значит, в десять в Остроумовской?

Лена громко расплакалась.

– Держитесь, – проговорил он и положил трубку.

Он встал с кровати и попытался в темноте найти тапочки. Жена включила ночник.

– Кто это был? – недовольно спросила она.

– Лена Голейко. Дочь Лизы. Она умерла. В смысле Лиза.

– Ну а ты тут при чем? – не поняла жена.

– В каком-то смысле при чем, – усмехнулся он. – Во всяком случае, она так посчитала.

Жена села на кровати и с удивлением на него посмотрела.

– И что, пойдешь? – с недоумением спросила она.

Он пожал плечами.

– Подумаю. – И добавил: – Наверное, пойти надо.

Жена недовольно хмыкнула и погасила ночник.

Он наконец нашарил тапки и пошел на кухню. Включать свет не стал, просто подошел к окну и стал смотреть на темную, слабо освещенную улицу. Вдалеке, на Ленинском проспекте, все еще было довольно резвое движение.

«И что им не спится?» – с раздражением подумал Николай Петрович, вспомнив, который час. На ощупь нашарил на полке заначку, полпачки сигарет (курить он бросил четыре года назад) и глубоко затянулся. Слегка повело, и закружилась голова.

На кухню зашла жена и включила свет.

– Ну ты еще закури и изобрази вселенскую скорбь! – с вызовом сказала она.

– Алла, прошу тебя! – умоляюще проговорил он.

Жена хмыкнула, выпила из кувшина воды и, щелкнув выключателем, вышла.

Он вспомнил эту Лену. Тогда ей было лет пять. Или шесть? Тихая, невзрачная, ничем не примечательная девочка, совсем непохожая на свою яркую красивую мать. Вечно сидела у

себя в уголке за ширмой и что-то рисовала или играла в куклы. Ничем особенно не докучала. На выходные Лиза ее отвозила к своей матери – крупной, одышливой и громкоголосой старухе. Иногда, впрочем, когда Лиза задерживалась на работе, он заходил за Леной в сад. Она подбегала к нему, брала за руку и внимательно на него смотрела. Однажды назвала его «папа Коля». Он помнил, что как-то дернулся, и ему это точно не понравилось. Вечером он сказал об этом Лизе, та рассмеялась и взъерошила ему волосы. Но дочке тихо выговорила – и девочка так больше к нему не обращалась. Впрочем, она к нему и по имени не обращалась. Говорила только «вы» и при этом смущалась и опускала глаза.

С Лизой он сошелся, когда ему было двадцать два. Совсем мальчишка. Провинциал. Приехал из Горького покорять столицу. На улице спросил у прохожего, как пройти к Третьяковке, купил билет и пристроился к какой-то экскурсии. Экскурсию вела Лиза. Она видела, что он из «примкнувших», но ничего не сказала, только усмехнулась. После того как экскурсанты разошлись, он задержался возле нее и задал пару вопросов. Они разговорились, и она предложила спуститься в буфет и выпить по чашке чаю.

Они долго пили чай, и она смешно рассказывала ему про различные нелепые ситуации и вопросы, которых было в ее недолгой практике экскурсовода множество. Они смеялись. А потом он рассказал про себя – про то, как сбежал из Горького, потому что жить с отчимом было невыносимо, как отслужил в армии в Азербайджане, под Баку. Как закончил в Горьком строительный техникум и сейчас мечтает об институте. Как поселился у сестры давно умершего отца в Лосинке. И как «тетя» потребовала ежемесячную плату, совсем немаленькую. Еще, почему-то смущаясь, объяснил, что деньги кончаются и надо срочно устраиваться на работу, а уж потом думать об институте, разумеется, о вечернем.

Она молча и внимательно его слушала, а потом сказала: «Я тебе помогу». И вправду помогла – через три дня он работал в большом монтажном управлении экспедитором.

Через две недели, получив первый аванс, он зашел за ней после работы и пригласил в кафе-мороженое. Там они взяли два пломбира, шоколадку и бутылку шампанского. Он пошел ее провожать, и она предложила зайти к ней – погреться и выпить чаю (на улице стоял приличный, с поземкой, декабрьский морозец). В тот вечер он у нее и остался. Дочка Леночка спала за ширмой, и ночью она закрывала ему рот рукой и просила: «Тише, пожалуйста, тише».

Он, провинциал, конечно, удивился такой скорости. Да еще и ребенок! Но так сложилось, что после той ночи он у нее и остался – в конце концов, это было ему удобно. Она казалась ему человеком смешливым и беззаботным. И отсутствие денег, и крошечную семиметровую комнату в коммуналке с пьющими и вечно скандалящими соседями, и деспотичную старуху-мать, и часто болеющего, слабого ребенка, и свой скоропалительный развод (муж ушел к ее близкой подруге) – все воспринимала легко и с юмором. К тому же была женщиной определенно красивой – высокой, стройной, статной. С крупными темными глазами, красивым, чуть вздернутым носом и пухлыми и яркими губами. Бывшая золовка, сестра ушедшего мужа, была довольно известной портнихой, и Лиза сохранила с ней дружеские отношения. Золовка с удовольствием ее обшивала – модель из Лизы была прекрасная: на ней шикарно смотрелись узкие юбки, блузки с пышным жабо и длинные, с широкими плечами, светлые пальто, туго перехваченные на узкой талии широкими поясами.

Было ей тогда тридцать два года, десять лет разницы. Он смущался, она, казалось, нет. Водила его к своим подругам и представляла: «Это мой мальчик». Он краснел и опускал глаза. Она была его первой настоящей женщиной, предыдущий опыт был скудным и небогатым. Любил ли ее? Скорее всего, нет. Он отчетливо это понимал. Да и она понимала. Как-то сказала ему: «Ну, ничего, перекантуешься. Опиришься скоро!»

Эти слова покорили, и он сделал вид, что сильно обиделся.

В институт он поступил – после армии и со стажем работы это было легко. Когда прибежал с радостной вестью к ней на работу, она почему-то погрузилась и даже расплакалась: «Ну, теперь ты от меня быстро сбежишь!»

Он стал все это жарко отрицать, а Лиза с какой-то нежной грустью вздохнула и взъерошила ему волосы. К тому времени он прожил у нее около трех лет.

Конечно, началась студенческая жизнь со всеми ее радостными атрибутами. Осенью поехали на картошку. Лиза провожала его, укладывая вещи в матерчатый чемодан, и в дверях грустно улыбнулась: «Ну, ты хоть поскучай по мне там. Хотя бы для приличия!»

Он горячо уверил ее, что непременно будет скучать. И непременно сильно. Она тяжело вздохнула и кивнула: «Ну давай, беги!»

Он сбежал по лестнице вниз. Она крикнула вдогонку: «А может, я к тебе приеду?»

Он прекрасно расслышал вопрос, но ничего не ответил, только громко хлопнул дверью парадной. Она несколько минут стояла на пороге, а потом зашла в квартиру и, щелкнув замком, закрыла дверь.

У института стоял автобус. Он легко запрыгнул по ступенькам и, радостно оглядев присутствующих, кинул рюкзак на сиденье. Ехали долго, шумно и весело. Пели песни. Тогда он впервые увидел Ирочку Светлову, девочку с соседнего потока. Ей очень подходила ее фамилия: она была светлой, как лунь – длинная, почти в пояс коса, голубые глаза цвета яркого летнего неба. Она сидела впереди него, и он, конечно, острил и выпендривался, как мог. Ирочка смеялась и густо краснела.

В совхозе устроились в огромных гулких и холодных бараках. На работу в поле выходили рано, в семь утра. Девчонки плакали – было холодно и дождливо, все мерзли и уставали. Но зато по вечерам наступала веселая жизнь: пили дешевый портвейн, не без усилий добытый в местном сельпо, пекли картошку и жарили на костре черный хлеб. Ребята играли на гитаре, и все радостно подхватывали давно известные песни. Конечно, вспыхивали, ярко горели и так же быстро гасли короткие студенческие романы. Парочки уединялись в лес и там развлекались – кто во что горазд. А он все не решался пригласить Ирочку на прогулку. Вечером, перед сном, ребята делились своими подвигами. Кто врал, кто приукрашивал. Над ним посмеивались, считая его в этих вопросах человеком неопытным и неискушенным. Он про себя усмехался: «Ну-ну. Знали бы вы!»

Ирочка Светлова ему очень нравилась. Он понимал, откуда такая робость и осторожность. Через две недели решился. Они гуляли по темному и сырому лесу, и Ирочка рассказывала о своей жизни. Он тогда немного струсил – старинная московская семья, с традициями и устоями, профессура в третьем поколении. Уроки немецкого с четырех лет, приходящая учительница музыки, тканевые салфетки и супница за обедом. Куда уж ему, провинциалу, выросшему на коммунальной кухне, среди запахов щей и подгоревших котлет? Родные видели дочку и внучку врачом или педагогом, а она, не оправдав надежд, поступила в строительный.

Целую неделю он даже не осмеливался взять ее за руку. А за три дня до отъезда осмелел. Теперь у них в лесу было «свое» поваленное дерево – сидя на нем, они до одури целовались, доводя друг друга до полного душевного и телесного томления и изнеможения.

В Москву ехали вместе, крепко держась за руки. Он проводил ее до дома.

– Ты теперь куда? – спросила она.

Он что-то начал сбивчиво врать, что снимает угол у древней старухи. Проводив Ирочку, долго шатался по городу, сходил в кино, в какой-то «стоячке» съел две порции пельменей, на скамейке в незнакомом дворе выпил бутылку теплого и безвкусного пива – и все никак не решался поехать к Лизе.

Явился поздно, часов в одиннадцать. Лиза вышла в халате, заспанная, с толстым слоем крема на лице. Увидев его, всплеснула руками и почему-то расплакалась. Потом засуетилась и бросилась на кухню разогревать борщ, но он сказал, что устал и хочет поскорее лечь спать.

Умывшись, он лег в кровать и отвернулся к стене. Она тихо прилегла с краю и погладила его по спине.

– Соскучился? – спросила она.

Он дернулся, сбросил ее руку и пробормотал:

– Завтра, все завтра. Очень хочется спать.

Назавтра, пока Лиза была на работе, он собрал свои вещи, оставил на столе короткую записку: «Извини, так получилось» – и поехал в общежитие.

Мест в общежитии давно не было. Сердобольная комендантша разрешила поставить в комнате у ребят раскладушку – и он был совершенно счастлив.

Утром бежал в институт – скорее бы увидеть Ирочку. После занятий, до самого вечера, они шатались по Москве. Он провожал ее, и они часами стояли в подъезде и никак не могли расстаться.

Через пару месяцев она пригласила его зайти. Перед дверью квартиры он вытащил из кармана носовой платок и протер ботинки. Ирочка рассмеялась и чмокнула его в нос. Дверь открыла домработница в переднике. Он почему-то подумал про свою мать.

Готовились к обеду. Во главе стола, как вдовствующая императрица, восседала Ирочкина бабушка. Из кабинета вышла Ирочкина мать – она занималась переводами на дому. Домработница наливала суп из большой фарфоровой супницы. Возле каждого прибора, свернутые в плотную трубочку, лежали туго накрахмаленные салфетки.

Он страшно робел и боялся сделать что-нибудь не так. Бабка задавала вопросы – о семье и жизненных планах. Он безбожно врал, рассказывая про свою семью. Отец, которого не было и в помине, – главный инженер завода. Мать «повысил» с гардеробщицы в районной школе до завуча старших классов. Так убедительно врал, что даже вспотел. После десерта – кофе с яблочным пирогом.

Мучения закончились, и они пошли в Ирочкину комнату. Там он наконец отдышался. Ирочка поставила пластинку Моцарта («Чтобы ничего не было слышно», – хихикнула она), и они с жаром принялись исполнять «обязательную программу».

О Лизе за это время он вспоминал от силы пару раз – так, мимолетно, ни о чем. Однажды обнаружил, что забыл у нее теплый свитер, связанный мамой, но зайти не решился.

Он сделал Ирочке предложение в начале третьего курса. Она рассмеялась: невесте даются три дня на раздумье. А через пять минут сказала, что согласна. Теперь дело было за малым – попросить ее руки у родных.

Нервничал сильно – накануне не спал ночь. Позаимствовал костюм у соседа по общежитию. Купил белую рубашку. Отстоял два часа в цветочном – достались пять красных, слегка помятых гвоздик.

Долго не решался позвонить в дверь. Открыла сама Ирочка. Он прошел в комнату. В высоком «вольтеровском» кресле сидела бабка и пила чай. Ирочка позвала мать и деда. Все собрались в гостиной. Он краснел и молчал. Все с удивлением и недоумением смотрели на него. Наконец, кашлянув, он выдавил:

– Я люблю Иру и прошу ее руки.

И опять густо залился краской. Бабка с дедом переглянулись, а мать растерянно и тщательно взялась протирать салфеткой очки. Все молчали.

– Ну! – нетерпеливо сказала Ирочка.

– Не рановато? – осведомилась бабка.

Он смутился и твердо сказал:

– Нет. И добавил, еще раз кашлянув: – Мы любим друг друга.

– Ну, это веская причина, – улыбнулся дед.

– Может, чаю? – нерешительно спросила будущая теща.

Долго и все так же молча пили чай. Наконец Ирочка предложила обсудить свадьбу.

– Без меня, – жестко отрезала бабка и встала из-за стола.

Свадьба, конечно, была. Через два месяца. Гостей собралось немного – только самые близкие родственники. Он услышал, как, вздыхая, бабка говорит какой-то родственнице, что «все *это* просто нужно пережить».

Свою мать на свадьбу он не позвал, постеснялся. Для будущих родственников придумал что-то невразумительное, в общем, полную глупость. Ирочка сидела в белой фате и, кажется, была счастлива.

После свадьбы ничего особенно не изменилось – просто он ушел из общежития. Жили в Ирочкиной комнате. Купили большую тахту. Самозабвенно осваивали ее по ночам, но скоро, примерно через полгода, их пыл начал потихоньку утихать. А еще через год они практически утратили друг к другу интерес.

Домой он теперь не торопился – ужин и вечерний чай с бабкой во главе стола стали утомлять, после занятий проводил время у ребят в общежитии. Ирочка с красными от слез глазами встречала его упреками.

Летом он уехал в стройотряд, а молодая жена отправилась с родителями в Крым, на море. В стройотряде было весело – много работали и много пили. Танцы, девчонки, романы... Он тоже закрутил с одной: она была неприхотлива и сразу потащила его в только что отстроенный сарай. Совесть его не мучила, только однажды, кувыряясь с умелой подружкой в стоге свежего сена, он с удивлением вспомнил, что, между прочим, женат.

В августе, загорелый и возмужавший, с приличной суммой денег, он вернулся домой. Ирочка стояла у окна, к нему спиной и теребила занавеску.

– Нам надо расстаться, Коля, – сказала она.

Он как-то не очень и удивился. Быстро собрал вещи и у двери бросил: «Пока».

Она не ответила. Он снял хорошую, светлую комнату на Пресне у одинокого пенсионера – денег было достаточно.

В сентябре в институте его нашла Ирочкина мать и попросила подписать документы на развод. От приятеля он узнал, что Ирочка вышла замуж за какого-то дедовского аспиранта, перевелась на заочное и, кажется, ждет ребенка. Он увидел ее примерно через полгода в деканате. Шла она, словно утка, тяжело переваливаясь, и поддерживала руками низкий и большой живот.

«Вот тебе и девочка – тоненькая веточка», – усмехнулся он и побежал по своим делам.

После защиты диплома он попал по распределению в большое строительное управление. Работал много и с удовольствием, да и деньги платили неплохие, часть отсылал матери в Горький. Баб у него тогда была вереница – почему нет: молодой, здоровый мужик.

Через пару лет получил квартиру – маленькую, однокомнатную, в Черемушках. И это было совершенное счастье. К тридцати от всего этого «хоровода» порядком устал. Удивлялся, но хотелось покоя, вкусного ужина, жены в халате и, между прочим, ребенка. Накуролесился до тошноты, до отрыжки.

Тогда он и встретил Аллу. Ей было чуть за тридцать, за плечами – неудачный брак и маленькая дочка. Была она умна, рассудительна и неплохо ориентировалась по жизни. К тому же оказалась умелой и рачительной хозяйкой.

Сменяли две однокомнатные на хорошую трехкомнатную на Удальцова. Аллину дочку Эллочку он хотел удочерить, но разумная Алла убедила, что отказываться от алиментов было бы полной глупостью.

Теперь он имел все, о чем мечтал: хорошую, уютную квартиру, прекрасную верную жену и даже прелестную девочку – хорошенькую, кудрявую и послушную, почти дочку. Да нет, какое там «почти»! Ребенка жены он сразу принял и полюбил, и это было совсем несложно. Но очень хотелось своего. И почему-то мальчишку. Он представлял, как будет строить с ним из кубиков дома, собирать модели бригантин и катать паровозики по железной дороге. Представлял, как

поведет сына на работу, и они поднимутся на самый высокий строящийся дом, и он наденет на его маленькую голову пластмассовую строительную каску и покажет ему Москву с птичьего полета. На ночь будет читать мальчику любимые сказки и придумывать разные забавные истории из собственной жизни. Как он мечтал о сыне!

Но ничего не получалось. Алла никак не могла родить. Три выкидыша за пять лет. Бесконечные врачи и больницы. Куча денег, нервов и слез. Тогда она сказала ему:

– Ты еще молодой мужик. Все у тебя сложится. Приму любое твое решение. Родишь на стороне – буду помогать. Уйдешь – пойму и не буду держать обиды.

Он тогда удивился:

– Ты что, с ума сошла?

Крепко обнял ее, и они оба разревелись. Больше эту тему не поднимали никогда.

Жили они ладно, а с годами и вовсе «проросли» друг в друга. Понимали все с полуслова, по взгляду, жесту. Смеялись, что со временем даже вкусовые пристрастия стали у них совпадать. Жена преподавала в музыкальной школе, он поднялся до замначальника стройуправления.

Эллочка окончила школу, поступила в институт и удачно вышла замуж. Родила двоих прекрасных детей. Он искренне считал их своими внуками. Денег хватало, появилась возможность посмотреть мир.

За тридцать лет было, конечно, пару заходов «налево». Так, мелких и незначительных, ничего серьезного, обычные мужские дела. Жену он свою ценил и уважал. И любил. Конечно, любил. В этом он ни разу не усомнился.

А теперь этот дурацкий звонок! Как он боялся таких ночных звонков!

Слава богу, у Элочки все нормально – и у нее, и у детей. Николай Петрович стоял у окна и смотрел, как на фасаде дома напротив вспыхивает и гаснет большая световая реклама.

«Глупо идти, – думал он. – Конечно, глупо. И не пойти нехорошо после звонка». Кем была эта Лиза в его жизни? Да, собственно, никем. Так, эпизод. Сколько было таких эпизодов в жизни молодого, здорового мужика? Он даже Ирочку почти забыл, свою первую жену. Тоже эпизод. Сейчас увидит на улице – наверняка не узнает, определенно не узнает. Все мелочь, чепуха, ошибки молодости. Настоящей была только его жизнь с Аллой. Настоящей и ценной.

«Все-таки надо пойти, – с тоской подумал он. – Проводить в последний, так сказать, путь. Святой долг каждого человека. А как не хочется! И зачем эта Лена мне позвонила?»

Он вздохнул, выпил воды и пошел в спальню.

Утром он поднялся рано, не было и семи. Выпил кофе, принял душ. Осторожно, чтобы не разбудить жену, вытащил из шкафа черные брюки и черный свитер. Оделся, тихо прикрыл входную дверь и поехал в Сокольники.

К моргу он подошел рано, в начале десятого. «Старый дурак, – подумал он. – Нашел, куда торопиться. Вот стой и наблюдай теперь людские скорби.

У морга толпился народ. Он отошел в сторону, достал из кармана свежий номер «Московской правды», купленный у метро, и принялся читать.

– Николай Петрович? – услышал он и обернулся.

Немолодая, невзрачная женщина в темном пальто и черной косынке дотронулась до его плеча.

– Лена? – догадался он.

Она кивнула. Он пожал ее руку:

– Примите мои соболезнования.

Она опять кивнула, пробормотала:

– Спасибо. – Потом печально улыбнулась: – Или в таких случаях «спасибо» не говорят?

Он смутился и пожал плечами. Он смотрел на эту чужую и, в сущности, незнакомую женщину и совершенно не знал, что нужно говорить.

– Пойдемте. – Лена взяла его за рукав. – Скоро начнется прощание.

Они зашли в траурный зал, и он увидел на постаменте гроб, обтянутый черно-желтой материей.

«Из самых дешевых», – совершенно некстати подумал он.

В гробу лежала совсем, казалось, маленькая усохшая старушка. Он подумал, что Лиза была достаточно крупной и высокой женщиной. Вокруг гроба сгрудилась небольшая кучка женщин – пять, не больше.

«Старухи», – подумал он. В памяти всплыли имена: Виолетта, Жанна, Муся. Он отдаленно помнил их – интересные, ухоженные, интеллигентные дамы. Тогда они смотрели на него с иронией и слегка свысока. Он помнил, как они изящно сидели в креслах, закидывая ногу за ногу, пили кофе, курили сигареты в мундштуках и вели светские разговоры. Но сейчас – сейчас это были согбенные, плохо одетые старухи.

Рядом с гробом он вставать не стал. Лена отпустила его руку и подошла к матери. Она поправила ей волосы и стала гладить лицо и руки. Женщины чуть отступили. Лена не плакала, только что-то тихо причитала. Ему стало неловко, и он отвернулся.

Распорядительница траурного зала призвала собравшихся попрощаться. Подруги Лизы по очереди стали подходить к гробу. Последним подошел он. Положил в гроб букет белых хризантем и тихо сказал:

– Прощай, Лиза.

Обернулся и увидел, как старухи внимательно на него смотрят.

Он подошел к Лене и хотел попрощаться, но она взяла его за руку и, глядя в глаза, спросила:

– Вы поедете на кладбище, Николай Петрович?

Он растерялся (это совсем не входило в его планы), но, видимо от растерянности, согласился и кивнул.

«Глупость какая! – раздраженно подумал Николай Петрович. – Надо было сослаться на дела, на самочувствие, в конце концов! Какое кладбище, бред! Пришел, попрощался, отдал последний, так сказать, долг. С чего, кстати говоря? Кто была мне эта Лиза, когда это было? Столько воды утекло, да и жизнь почти прошла. И Лена эта... Настырная какая! Дался я ей, прости господи!»

С раздражением, злясь на себя, он залез в похоронный автобус, устроился у окна и отвернулся. Лизины подруги сели кучкой, одна за другой, и, тихо перешептываясь, кидали на него взгляды.

Автобус тронулся. Лена подошла к нему и села рядом. Он кашлянул и подвинулся ближе к окну. Оба молчали. Спустя минут десять она сказала:

– А я загадала.

Она улыбнулась и замолчала.

Он с удивлением посмотрел на нее:

– Вы о чем?

– Я загадала, – повторила она. – Ну, если вы придете – так тому и быть.

– В смысле? – Он уже не пытался скрыть свое раздражение.

Лена глубоко вздохнула и вынула из сумочки несколько фотографий.

– Это мама. Совсем молодая. Такой вы, наверно, ее помните.

Она протянула ему снимок. С фотографии смотрела молодая Лиза. Улыбка, локон кокетливо выбивается из-под шляпки. Платье с высокими плечами, маленькая сумочка в руке.

Он пожал плечами.

– Она долго болела, – тихо сказала Лена. – Долго и тяжело. Работала почти до последних дней. – Лена замолчала и посмотрела в окно. – Дома сидеть совсем не хотела. Вела в жэке

кружок. Для детей. «Шедевры Третьяковки». – Она улыбнулась. – Дети ее обожали. Было так интересно, что в кружок приходили родители. От ее лекций было невозможно оторваться.

Он кивнул.

– Моя жизнь не очень-то сложилась, – вздохнула Лена. – Вышла замуж, развелась. Преподаю в техникуме английский. Так, ничего примечательного. Детей бог не дал. Не было у мамы счастья повозиться с внуками. А какая из нее могла получиться бабушка! Так вот, я маме внуков не родила, а Сашиных она не растила.

Лена протянула ему еще одно фото. На снимке стоял молодой и, видимо, высокий мужчина в форме морского офицера.

– Саша, мой брат, – гордо кивнула Лена. – Окончил в Питере мореходку, служит в Североморске, на подводной лодке. Капитан второго ранга. Красивый, правда?

Николай Петрович кивнул.

– А это – его дети, Света и Боренька. И жена Ольга. Хорошая женщина, настоящая жена офицера. Так что Сашке, слава богу, повезло. В отличие от меня. – Она усмехнулась. – Сообщать ему я не стала – он в море, в походе. Да и лодка все равно не всплывет. А Ольга, жена, в положении. Третьего ждет. Я думаю, что я права.

Он кивнул:

– Да, конечно.

Он разглядывал фотографии Лизиных внуков и сына и думал: какая, в сущности, разница? Какое ему дело до всей этой чужой и незнакомой родни?

Из вежливости он спросил:

– А что, Лиза вышла замуж? Удачно, надеюсь?

Лена долгим взглядом посмотрела на него и покачала головой:

– Нет, Николай Петрович, замуж мама так и не вышла. Хотя желающих было много, уж вы мне поверьте. Замуж не вышла, – с какой-то обидой повторила она, – а вот сына родила. И ни разу об этом не пожалела. Говорила, что детей надо рожать от любимых. Что она, собственно говоря, и сделала. – Лена помолчала и добавила: – И родила Сашку от вас.

– Что? – почти вскрикнул он. Старухи замолчали и испуганно посмотрели на него. – Что вы сказали, повторите!

Он всем корпусом развернулся к Лене.

Она пожала плечами:

– А что вас в этом так удивляет? Забеременела она перед тем, как вы уехали в колхоз. На картошку, что ли. Думала, скажет вам все, как вы приедете. А потом, когда вы вернулись, она сказала, что поняла: вернулся совершенно другой человек. Абсолютно чужой. Она говорила, что не хотела портить вам жизнь. А позже узнала, что вы влюблены и собираетесь жениться. Что же тут непонятного? – удивилась Лена.

Он молчал.

– Конечно, нам было нелегко. Сашка в детстве много болел, цеплял все подряд – ветрянку, корь, в год она отдала его в ясли. Потом, правда, ничего, выровнялся. Я пошла работать – с восьмого класса разносила почту. Потом институт, конечно вечерний, нужно было работать. Устроилась вожатой в школе. И Санечка был под присмотром. В общем, жили как-то.

Он молчал и смотрел прямо перед собой.

– Да не волнуйтесь вы так! – она дотронулась до его руки. – Вы-то точно не виноваты! Это был мамин выбор. Только ее. – Она улыбнулась. – Вот я и загадала: придете сегодня, я вам все расскажу. Хотя не знаю, одобрила бы меня мама. Мы с ней пару раз говорили на эту тему. Она всегда повторяла, что это ее решение и вы тут совершенно ни при чем, мы не имеем права осложнять вам жизнь.

Автобус резко дернулся и остановился у ворот. Открылись двери, старухи тяжело стали спускаться по ступенькам. Он вышел из автобуса, стрельнул у водителя сигарету, отошел чуть в

сторону и закурил. Кладбищенские рабочие водрузили гроб с Лизой на металлическую каталку и резво повезли в глубь кладбища. Скорбная процессия едва поспевала за ними. Он бросил окурок и пошел следом. Все свернули на боковую аллею и скоро дошли до места. Рабочие отошли в сторону – ожидать положенного магарыча.

Все по очереди подходили к Лизе и говорили последние слова. Лена плакала и гладила мать по лицу. Потом обернулась, растерянно посмотрела на него и отошла чуть в сторону. Он подошел к гробу, долго смотрел на Лизу, пытаясь отыскать знакомые черты, потом наклонился и поцеловал ее в лоб. Кто-то придушенно вскрикнул за его спиной. Рабочие накрыли крышку и принялись заколачивать гроб. Лена что-то истошно закричала, он подошел к ней и крепко обнял. Промерзшие крупные комья земли с грохотом ударялись о крышку гроба. Окоченевшие старухи медленно двинулись в обратный путь, а они с Леной, обнявшись, продолжали стоять у могилы. Лена плакала и поправляла ленты венков, лежавших на только что образованном холмике из комьев рыжеватой глины и бурого, грязного снега.

Он подошел к работягам и протянул деньги. Они пересчитали, хмыкнули, но, видимо, остались довольны. Бросив лопаты на каталку и громко переговариваясь, рабочие двинулись в сторону конторы. Наконец и они побрели к автобусу. Николай Петрович сел рядом с Леной, достал одноразовые бумажные платочки, положенные в карман заботливой женой, и протянул ей. Долго молчали. Потом она спросила:

– Поедете к нам, Николай Петрович? Помянуть маму?

Он кивнул. Потом украдкой посмотрел на часы и подумал, что надо позвонить Алле. Она наверняка волнуется. Но в автобусе делать этого не стал, почему-то показалось неуместным. Ехали долго – на другой конец Москвы. Старухи притихли, видимо, устали и замерзли. А может, каждая думала о бренности жизни и, конечно, о себе.

Автобус свернул на улицу Волгина.

«Странно, – подумал он. – А ведь мы практически были соседями. Господи, как все это по меньшей мере странно. И этот мальчик, мой сын, рос, оказывается, совсем недалеко от меня».

Лена позвонила в квартиру. Дверь открыла высокая полная старуха.

– Тетя Маруся, – представила ее Лена, – наша соседка. Если бы не она, не знаю, как бы я справилась со всем этим.

Соседка Маруся махнула рукой и пошла на кухню. Николай Петрович стал принимать пальто у Лизиных подруг, потом по очереди все долго мыли руки. Наконец прошли в комнату.

Он огляделся – обстановка была более чем скромной: старая тахта под вытертым покрывалом, комод, письменный стол, старенький ламповый телевизор. На стенах и комоде фотографии – дочь, сын, внуки. Его, между прочим, внуки и его сын.

Он стоял и разглядывал снимки. Сзади подошла одна из Лизиных подруг.

– Чудные дети, – сказала она. – И Саша, и Леночка. А как Леночка смотрела за матерью! Такое сейчас нечасто встретишь. – И старуха почему-то глубоко и тяжело вздохнула.

Наконец все уселись за стол. Маруся внесла стопку блинов. Все оживились и начали раскладывать еду по тарелкам. Он встал и поднял рюмку. За столом стало тихо.

– Не знаю, имею ли я право, – сказал он и замолчал. – Не уверен, что имею право сказать первым, – повторил он. – Не уверен, но скажу.

Все выжидательно смотрели на него.

– Жизнь так распорядилась, и в этом вряд ли есть виноватые. Но сложилось именно так, а не иначе. Лиза была прекрасным человеком. Я в этом совершенно убежден. Жила она несладко, но была человеком гордым и значительным. А таким всегда живется непросто. – Он замолчал и проглотил комок в горле. – Я прошу у нее прощения. А мне есть за что перед ней повиниться. Но сегодня вместе со скорбью я испытываю огромное, непомерное человеческое счастье. Счастье, которое я не могу еще осознать в полную силу. – Он замолчал и понял, что

больше говорить не может. Охрипшим, срывающимся голосом добавил: – Светлая память! – Опрокинул рюмку и сел за стол.

Все молча выпили. Потом заговорили Лизины подруги – по очереди и наперебой. Вспоминали что-то забавное, смеялись и снова плакали.

Николай Петрович внимательно слушал их рассказы и думал о том, как, в сущности, мало эта женщина значила в его жизни и как она изменила его судьбу. Из рассказов Лизиных подруг он узнавал, каким легким и необременительным человеком она была в жизни. Каким верным и преданным другом. Как легко и с удовольствием помогала всем – и родне, и подругам. Он понимал, что об ушедших – только хорошее, но был уверен, что все это чистая правда.

Потом вышел в коридор и позвонил жене. Сказал, что у него все в порядке и просил не волноваться. Обещал, что скоро будет. Жена попросила, чтобы он по дороге купил свежего хлеба.

Он зашел в комнату и вызвал Лену в коридор. В коридоре объяснил ей, что ему надо собираться. Она кивала, да, да, конечно. Он надел пальто, и они с Леной крепко обнялись. На пороге, смущаясь, попросил у нее фотографии сына и внуков. Она всплеснула руками:

– О господи, как я могла забыть!

Она вынесла несколько снимков, и он положил их во внутренний карман пальто.

– Ну, теперь я думаю, что мы не потеряемся! – слабо улыбнулась Лена. – Как странно, для этого было нужно всего лишь, чтобы мама умерла.

Он прижал ее к себе на секунду – и шагнул к лифту.

На улице он поймал такси. Он очень торопился домой. Думал о том, какой нелегкий разговор ему предстоит с женой, но ни на секунду не сомневался, что Алла поймет все правильно. По-другому и не могло быть. Сколько вместе прожито и пережито! Какая за плечами долгая и непростая жизнь. И она, конечно же, сможет его понять и простить. И разделить с ним эту огромную радость и непомерное счастье.

Он достал из кармана фотографии, долго рассматривал их, пытаясь найти в незнакомых людях, сыне и внуках, знакомые черты, и ему казалось, что он их находил. Он думал о том, что в далеком северном городе живут родные ему люди, и почему-то стало тревожно и беспокойно и закололо сердце. Впрочем, родителям свойственно беспокоиться о детях, решил он.

Он вздохнул, улыбнулся и посмотрел в окно. «Скоро кончится эта бесконечная зима, – подумал он. – Совсем скоро. Уже, слава богу, последняя неделя марта».

Машина подъехала к дому, и он расплатился с шофером. Легко и быстро вбежал по ступенькам и нажал кнопку лифта. И только тогда вспомнил, что забыл купить хлеба.

Закон природы

Милочка Фролова, балерина в отставке, еще сохранившая статью и четкость спины, торопилась на деловую встречу. Ее крупно подвели Генсы, многолетние дачники, сообщив в мае, накануне дачного сезона, что снимать они в этом году не будут, так как всей своей большой семьей поднимаются и едут в Германию – насовсем. Милочка страшно расстроилась, не спала две ночи и много плакала. Во-первых, было жалко себя – любые новые хлопоты обычно вводили ее в транс, во-вторых, Генсы стали уже родными людьми: ключей на зиму она у них не забирала и дачную жизнь не контролировала – знала, что там и так все в порядке. Огородов они не разводили, жили весело с шашлыками и гитарами, обожали гостей и радостно приветчали невредную хозяйку, оставив за ней лучшую из комнат в большом старом доме. Если бы Милочкин муж умирал в сознании, он был бы почти спокоен за свою хрупкую и нервную жену: осталась прекрасная старая дача в Валентиновке, полгектара земли и приличная трехкомнатная квартира на Остоженке. Богатство по нынешним временам. Но муж, когда-то крупный чиновник от Министерства обороны, здоровяк и крепыш, умер внезапно, от разрыва брюшной аорты, так и не поняв, что произошло. Без него, своего вечного поводыря, Милочка совсем растерялась, год убивалась, не знала, как жить дальше без опеки, заботы и денег, пока наконец умные люди не посоветовали ей сдать дачу. Тут судьба и выбросила ей семейство Генсов. Заезжали Генсы рано, в конце апреля. Сначала вывозили двух старух – бабушку и ее бездетную сестру, а с мая уже приезжало все огромное семейство: трое детей, все женатые, с маленькими и уже подростками внуками с кавалерами, периодически появлялись двоюродные и троюродные сестры и братья – словом, дом оживал и гудел, как улей. Теперь надо было срочно искать новых дачников, конечно, своих, по знакомству, – ведь это были единственные Милочкины деньги на всю долгую зиму. Кто говорит о крошечной пенсии бывшей балерины кордебалета?

Посодействовала соседка Софа: у ее дальней родственницы была уже сильно беременная дочь, которую оставлять в пыльной и жаркой Москве на лето было бы преступлением. С новыми предполагаемыми дачниками Милочка встречалась у метро «Университет». Серебристая иномарка новых дачников уже стояла у обочины, и Милочка, припарковавшись, подошла к машине. Навстречу вышел молодой мужчина среднего роста и представился: «Анатолий». В машине сидела молодая женщина, печальная и опухшая, с коричневыми пятнами на лице и внушительным животом.

Двинулись на двух машинах – Милочка впереди на своем выдавшем виды «жигуленке». Въехали в поселок. Милочка открыла окно и стала вдыхать свежий после дождя дачный воздух. Долго осматривали дачу, ходили по участку вместе с Анатолием, а его тихая жена сидела на стуле, вынесенном в сад. Потом говорили о цене, торговались и наконец сошлись. Милочка отдала им ключи и попросила завтра завезти ей аванс. Дело было сделано. Нормальные люди, приличные, по рекомендации, радовалась Милочка. Все, слава богу, образовалось. А сколько нервов! Приехав домой, она выпила чаю с крекерами и уснула под пледом на диване – устала.

Анатолий объявился на следующий день – позвонил ближе к вечеру и попросил пару дней подождать с деньгами. Милочка, вздохнув, согласилась. Деньги он привез спустя неделю, опять заставив слабую Милочку понервничать. Она пригласила его зайти в дом и предложила кофе. Он выпил две чашки кофе с бутербродами и уходит, кажется, не собиравшись. Освоился и долго ходил по квартире, рассматривая Милочкины фотографии на стенах, антикварные часы с боем, старинные вазы и подсвечники – Милочкин покойный муж понимал в этом толк. Потом Анатолий сел в кресло с журналом и задремал. Милочка растерялась, долго мыла на кухне посуду, потом ушла в спальню и тихо, почти без звука смотрела телевизор. А потом Анатолий зашел к ней в спальню. Без стука. Без вступлений и разговоров взял ее, грубовато и напористо,

Милочка лишь тихо поскуливала. Через час он уже храпел с открытым ртом, широко раскинув руки.

Милочка всю ночь не спала, бродила по квартире, пыталась осмыслить произошедшее, плакала, решила оскорбиться, а потом вдруг оживилась, встрепенулась и сказала себе, что все это счастье и подарок судьбы, на который она уже и не рассчитывала. Успокоилась, вернулась в спальню, легла на край кровати и под утро уснула счастливым и спокойным сном.

Проснувшись она, когда Анатолий уже шумно умывался в ванной. Вскочила к зеркалу, мазнула помадой по губам и пуховкой по носу, выхватила из шкафа свой лучший, сиреневый в кружевах, пеньюар и полетела на кухню. Когда Анатолий вышел из ванной, на кухонном столе стояли пышный омлет с сыром и укропом и полная турка кофе. Анатолий внимательно посмотрел на Милочку, а потом подошел и по-семейному чмокнул ее в щеку. Ел он медленно и с удовольствием, просил еще поджарить в тостере гренки и сварить еще кофе. В дверях он еще раз клюнул Милочку в щеку и сказал:

– До вечера!

Бог мой! До вечера! Могла ли она мечтать! У нее начиналась новая, совсем другая жизнь! До вечера! Милочка засуетилась. Дел теперь у нее было неупрощение. Во-первых – генеральная уборка квартиры, которую она совсем забросила. Во-вторых – рынок. И там все самое хорошее и свежее: рыба, мясо, овощи, ничего мороженого, все парное и с грядки. В-третьих – обед, обильный, из трех-четырех блюд, с десертом, как когда-то раньше, когда они с мужем ждали нечастых гостей. А в-четвертых – косметичка, парикмахер, педикюр. Боже, как она себя запустила! А гардероб? Все старое, немодное, убогое. Разве это жизнь – то, что было у нее все эти годы? Скука смертная – журналы, бесконечные сериалы, грустные романсы на старых пластинках, творог на завтрак и ужин, старые джинсы и хвост на затылке. А оказывается, все только начинается!

К вечеру квартира сияла, и сияла сама Милочка с новой короткой стрижкой и ярко-красными ноготками на ногах. Ужин накрыла в гостиной – кружевная скатерть, свечи, столовое серебро. На ужин – судак по-польски, цветная капуста под сыром, крохотные пирожки с мясом, желе с фруктами, крешен. Надела легкую галабею и крупные серьги с бирюзой. Посмотрела в зеркало – и осталась довольна собой, даже очень. На нее смотрела прелестная хрупкая, красивая женщина средних лет. Анатолий пришел к девяти, замотанный, усталый, она предложила ему ванну с розовой пеной.

Затем они долго ужинали при свечах, а потом была еще одна бессонная и счастливая Милочкина ночь. Так продолжалось все лето – по будням. В пятницу вечером Анатолий уезжал на дачу к жене, и Милочка отдыхала и, конечно, грустила. Бродила по квартире, не находя себе места, тосковала, плакала, опять слушала грустные романсы, куталась в шаль. А к вечеру воскресенья оживала. Ведь завтра наступит понедельник! Мучило еще то, что денег за август Анатолий ей не давал, а спросить, естественно, ей было неловко.

В двадцатых числах августа он заехал очень взволнованный и сказал, что, видимо, они будут съезжать с дачи, так как роды уже близко и оставаться за городом становится опасно. И еще с усмешкой добавил, что и их с Милочкой истории подошел конец и он уверен, что они были друг другу полезны и наверняка не жалеют о времени, проведенном с пользой для обоих.

Милочка сидела оцепенев, опустив глаза в пол. Потом тихо спросила:

– Значит, встречаться мы больше не будем?

Анатолий почти возмутился:

– Ты о чем? У меня жена вот-вот родит! Роддом, ребенок, коляски, кровати! Ты что, не понимаешь, что мне будет не до тебя? И не придумывай себе ничего такого. Скажи еще спасибо, время неплохо провели, вроде должна быть всем довольна. – Анатолий откинулся в кресле и хохотнул.

– А деньги? – побелевшими губами прошептала Милочка.

– Какие деньги? – удивился Анатолий. – Или ты считаешь, что я тебе что-то должен? В твоём возрасте за это приплачивают, дорогая. И вообще, сидишь тут в антиквариате, как сыр в масле – дача, квартира, удовольствия, – и еще денег хочешь. Некрасиво получается!

– Уходи, – твердо сказала Милочка.

– Уйду, не волнуйся, не задержусь. – Он встал и вышел, громко хлопнув дверью.

До вечера Милочка так и просидела в кресле. А потом набросила на халат жакет, спустилась в гараж и завела мотор «жигуленка». Утром ее нашел сосед – уже почти остывшую.

А через неделю у Анатолия родилась дочь. По странному стечению обстоятельств его жена назвала дочь Людмилой, хотя производных у этого имени много: девочка могла оказаться и Люсенькой, и Людочкой, и Люлечкой – совсем необязательно Милочкой.

В общем, закон природы: если где-то что-то убыло, то в другом месте обязательно прибавит.

Зика

Сейчас, глядя назад, я со стыдом вспоминаю, каким наглым, невоспитанным и циничным подростком была. Откуда? И это у моей-то интеллигентной и терпимой мамы, жалеющей всех и вся не только на словах, но и на деле, немедленно спешащей на помощь всем, кто в этом нуждался. Впрочем, отца, как и меня, раздражали ее бесконечные одинокие и несчастные родственники и подруги.

– Убогие к тебе льнут, – неприязненно бросал отец. Но он-то, в отличие от меня, проживший жизнь, это принимал.

Поддержку и понимание в мамином доме находили многие, и одной из них была Зика. На самом деле она, конечно, была не Зика, а Зинаида Романовна. Но прозвище, которым я называла ее в детстве, прочно прилепилось к ней до конца ее жизни. Зика была дальней маминой родственницей, какая-то седьмая вода на киселе, и, думаю, если бы Зикина жизнь сложилась более или менее благополучно, мама бы так ее не опекала и не привечала.

В детстве я Зику милостиво терпела, а подростком с кривой физиономией и мерзкой улыбочкой принимала ее жалкие дары – пакетик сосучек «Барбарис» и шоколадный батончик с царственным названием «Пралине». Вручив мне это и поохав, как я выросла и похорошела, Зика и мама уединялись на кухне, где мама обязательно кормила Зику обедом, а потом они долго, часами, пили чай.

Зика удивлялась:

– А почему Танечка с нами не обедает?

– Она поздно завтракала, – отмахивалась мама. На самом деле она боялась моих козней и хамских выпадов.

По-моему, Зика всегда была голодной и много ела.

– Она же большая, – оправдывала Зику мама.

Она и вправду была большой, точнее крупной, не полной, но широкой везде – в бедрах, плечах, с крупными руками и ногами и небольшой головой. Седые волосы она убирала в неряшливый пучок, из которого вечно торчали и волосы, и шпильки. Зика любила сарафаны – скучные, коричневые или серые, прямые, с поясом, а под них надевала блеклые штапельные блузочки. Обувь у нее была без каблука, тоскливая, похожая на мужскую. Сумку свою, вытертую, непонятного бурого цвета, она называла «радикуль». Из этого самого доисторического «радикуля» она и доставала свои дары – батончик «Пралине», пакет барбарисок и шоколадку маме.

Зика любила куриный суп, и бедная мама со вздохом доставала из морозилки дефицитную в те нелегкие годы пухлую венгерскую курочку, а я злилась и представляла, что эта самая курочка вполне могла быть румяным цыпленком табака с чесночинами в ножках, а не грустно бултыхаться в бледном бульоне с морковкой и вермишелью. Зика съедала две тарелки супа и заодно полкурицы. Если мне совсем нечего было делать, я нагло возникала в дверном проеме и делала «большие глаза». Типа: ну вы, Зинаида Романовна, и жрать здоровы. Зика смущалась, краснела, а мама пыталась замять неловкость. Ей было за меня стыдно. Потом она ругала меня, а я с ангельским взором удивлялась – а что я такого сделала? – доводя маму до слез. Что я знала тогда о жалости и сострадании? Что я знала о Зике, о ее нелепой и печальной судьбе? Да что я вообще тогда понимала в жизни?..

Потом Зика стала приходить реже, она подолгу болела, и навещала ее уже мама, с неизменным термосом куриного супа. А однажды, мне было тогда лет восемнадцать, заплаканная мама сказала, что Зика умерла и что надо идти на похороны.

Я заверещала:

– Кто мне твоя Зика? Кладбища наводят на меня тоску, и вообще у меня сегодня важное свидание.

Мама долго увещевала меня, но я ее не пожалела и на похороны не пошла. Совесть меня совсем не мучила. Какая там совесть, ведь у меня было столько неотложных дел! А спустя полгода на мое имя из нотариата пришло письмо, в котором сообщалось, что однокомнатная квартира на улице Островитянова – комната семнадцать метров, кухня восемь метров – завещана мне и что я должна явиться на оформление наследства.

– Вот видишь, – сказала мама и заплакала. – А ты ее даже не хоронила. Стерва ты, Танька!

– Ну я же ничего этого не знала, – вяло оправдывалась я.

Квартира оказалась пыльной, заброшенной (а какой она могла быть?), с нищенской мебелью и низеньким пузатым холодильником на «спартанской» кухне. Я таких не видела. Мама сказала, что этот холодильник они с отцом подарили Зике в шестьдесят четвертом году. Здесь вообще было царство бедности, даже нищеты.

– Что ты хочешь? – сказала мама. – Ведь она всю жизнь проработала в школе библиотекарем. Бедность была такая, что она покупала две морковки и две луковицы на неделю.

На стареньком трюмо с потрескавшейся полировкой стояли фотографии: моя молодая мама, я, еще ребенок, в трусиках в горох и с большим бантом на голове, а на третьей фотографии был запечатлен довольно фактурный мужик в фетровой шляпе и длинном пальто. Наличие моей фотографии меня удивило, а мама, видя это, с укором заметила:

– Она тебя любила и считала своей внучкой, а ты...

Мне, кажется, впервые стало стыдно.

– Я ничего не знала, – растерянно бормотала я.

– А что ты вообще о ней знаешь? Ты же никогда и ничем не интересуешься. Стыдно, Таня.

– Стыдно, – согласилась я. – А что делать?

– Послушать меня наконец, вот что. Дай сигарету, – попросила мама.

Я удивилась: мама покуривала крайне редко, только при сильном душевном волнении, да и то потихоньку от меня.

Мама кивнула на фотографию мужчины в фетровой шляпе:

– Так вот, это – Зикин муж, Таня.

– У Зики был муж? – удивилась я. – А я-то думала, что она старая дева.

– Ты правильно думала. У Зики был муж, и при этом она была старая дева.

– Как это может быть?

Моему удивлению не было предела, а заинтриговать тогда меня было непросто. Мне казалось, что я все знаю про этот мир.

– Так не бывает, – настаивала я.

– Бывает. Он был мужем Зики один световой день.

Ее просватали, когда ей уже было за тридцать. Просватала старая тетка Люба, главная сплетница и сводница нашей тогда еще большой семьи. Жениха звали Владлен, он был хорош собой, но абсолютно бездарен и никчем. К тому же он был не москвич, и ему до зарезу требовались в Москве и прописка, и жилплощадь. А так он перебивался у разных баб. И надо сказать, ему везде были рады. Словом, типичный альфонс. Зика влюбилась в него сразу и намертво. Ее можно было понять. В ее жизни не было ни одной самой пустяковой женской историйки. А ему было все равно: Зика не Зика, главное – прописка. Это все понимали. Кто-то открыто возмущался, кто-то тихо негодовал, а кто-то подхихикивал, с удовольствием ожидая развития событий.

Свадьбу решили сыграть дома – тогда мы все, включая Зику, жили в одной большой коммуналке на Петровке. Готовили всем миром. Ольга Алексеевна пекла торты, Сусанна колдовала над сациви, мы резали салаты. Глупая Зика не желала ничего слушать и хотела празд-

ника на всю катушку. Моя мама, твоя умнейшая бабушка, видя все это, мудро рассудила: ну пусть хоть раз в жизни у этой дурехи будет праздник. А еще она захотела белое платье и фату. Мы вздыхали, но ничего не могли с ней поделаться. Соседка Рита сшила платье из голубоватого шелка и маленькую фату. Голубое платье – единственный компромисс, на который согласилась упрямая Зика. Катерина Павловна сообразила на Зикиной голове подобие «халы». В общем, и смех и грех. Но Зика была счастлива.

В комнате у Клавдии (а у нее была самая большая комната) накрыли столы. Жених пришел в черном костюме с «искрой» и гвоздикой в петлице. Цветов невесте он не принес, и меня отправили в Столешники срочно исправлять ситуацию. Удалось достать слегка пожухлые желтые гвоздики. Зика об этом не знала.

В загс мы с мамой не пошли – не хотели до такой степени участвовать в этом фарсе. После загса все уселись за столы, жених ходил и оглядывал квартиру, а Зика рдела от счастья под голубой фатой. Когда крикнули «горько!», жених вежливо прикрыл эту «лавочку» – дескать, не дети, куда уж нам при всех целоваться. Он даже не пытался создать видимость приличия.

На свадьбу к Зике пришла наша дальняя родственница Элька. Та, что сейчас живет в Америке. Хорошенькая, тоненькая, молодая. Зеленый глаз горит, рыжие кудри по плечам. Вот с ней-то жених и «зажигал» весь вечер. И надо сказать тебе, парой они были красивой. Пока Владлен танцевал с Элькой, Зика тихо сняла фату и принялась убирать со стола. Потом я увидела, как она моет посуду на нашей двадцатиметровой коммунальной кухне.

Расхотелись с этой невеселой свадьбы за полночь. Я видела, как заплаканная Зика понуро шла к себе в комнату. Кто-то из соседей, уже сильно под градусом, пытался выяснить с женихом отношения, обидевшись за Зику. Завязалась драка – в общем, обычное дело. Потом все опять выпивали, пели, ну, а дальше я пошла спать. Утром я застала бабушку, курящую у окна.

– Что-то не так?

– Всё. Ночью этот гад ушел к Эльке, у нее и остался. Пойду помогу Зике собрать его вещи.

За вещами незадачливый молодожен вернулся на следующий день. Зика молча отдала ему чемодан, не сказав ни слова. О том, как она страдала, можно только догадываться. Она даже не выходила из своей комнаты, и чай бабушка ей носила и горшок за ней убирала. Лежала она два месяца, потом бабушка привела к ней старенького врача-гомеопата и по часам стала ей давать пилюльки. От чего? От больной души.

Что ее подняло? Волшебные шарики старого доктора или известие о том, что Владлен повесился после того, как рыжая Элька стала его прогонять? Но похоронами озабоченная Зика уже занималась вовсю, серьезно утверждая, что она его вдова. Она его и хоронила, все оформив и за все заплатив. Похоронила Владлена в нашей семейной могиле в Вострякове, где лежат наши предки, не самые пустые, надо сказать, люди. Бабушка пыталась не позволить ей это сделать, но потом уступила, в очередной раз пожалев дуреху. Только памятник отдельный ставить ему так и не позволила, ограничились надписью. Зика ходила на кладбище исправно всю свою нелепую жизнь – раз в две недели. Убирала, конечно, все могилы за общей оградой. В конце концов, это было всем удобно.

– А Элька? – прошелестела я.

– А что Элька! У Эльки все прекрасно. Из молодой рыжей красотки она превратилась в рыжую сухую, типично американскую старушонку. Замужем она была раза три, и все мужья, надо сказать, были приличные и небедные люди. У нее дом в пригороде Нью-Йорка, два, по моему, неплохих сына, куча внуков, ездит по всему миру, в общем, жизнь удалась. Так что не знаю, что там и где эта кара божья, не знаю, не понимаю.

Мама вздохнула и встала с шаткой и скрипучей Зикиной кушетки.

Домой мы ехали молча. Что творилось у меня на душе! И стыд за себя, и боль и обида за Зику, и презрение к красавцу альфонсу, и ненависть к рыжей Эльке. Пожалуй, это была первая

бессонная ночь в моей сознательной жизни. Первая ночь, которую я провела в терзаниях и муке.

А спустя полгода я выскочила замуж, и мы с моим молодым и веселым мужем с треском сдирали старые Зирины обои и выкидывали старую мебель во двор. Я оставила только фотографии молодой Зики с застенчивым взглядом, с круглыми, наивными глазами, и большой фарфоровый чайник с розовыми пионами – память о ней.

Когда родились мои дети, Зирину квартиру мы обменяли на большую, естественно, с доплатой. Так не осталось от Зики ничего. Хотя как это «ничего»? А пузатый перламутровый дулевский чайник, в котором мы завариваем чай до сей поры? И еще – еще память, боль, стыд, жалость и благодарность в моем уже поумневшем сердце...

Параллельные жизни созвездия Близнецов

На работе было все как всегда. Пыльно и скучно. Марта смотрела на подоконник, где стояли самодельные горшки с цветами – банки, обернутые цветной бархатной бумагой, принесенные кем-то из дома. На простоватых цветах толстым слоем лежала пыль. Марта смотрела на некрасивый усатый цветок с пышным названием «традесканция» и думала о том, что она оказалась тут тоже случайно, так же, как и этот цветок. День был солнечный, зимний, и рамы были утеплены грязноватой ватой. В воздухе в лучах солнца висела пыль. Старые потертые столы и шаткие стулья. Скучно. Скучнее не бывает. И это, похоже, надолго. Особенно когда тебе двадцать шесть и женихов на горизонте ноль. Не считая Смирнова. Не считая женихов или не считая Смирнова?

Лерка, как всегда, монотонно хаяла своего никчемного второго мужа. Как часто бывает, он оказался еще никчемнее первого. Марта подумала, что сейчас она заснет под Леркин бубнеж, тряхнула головой и спросила:

– Где Смирнов?

– Как всегда, – презрительно буркнула Лерка, – варит тебе кофе.

Марта работала в этой скучной конторе уже третий год. После института нужно было самораспределяться – и все растерялись. У кого-то были связи и блат и, как следствие, заранее подготовленное место. У Марты всего этого не было. Да и вообще на юристов спрос был тогда невелик. Если ты талант – иди в адвокатуру, завоевывай место под солнцем. Если ты никто – или в нотариат (сто десять рублей и одни тетки) или юрисконсульт в какую-нибудь дыру. Социалистический строй не предполагал наличия частных адвокатов и опытных юристов.

Она нашла это место случайно, просто шла и увидела объявление «требуется». Это была контора при объединении школьных столовых – название хуже некуда, но сразу дали сто тридцать рублей плюс дефицитные заказы. Сотрудников было немного, а главное – начальник. Молодой мужик. В комнате – вдвоем с Леркой. А Лерка хоть и занудная, но не вредная. Никаких старых гримз с вечными советами, как нужно красить глаза, и речами о том, как вредно курить. Это все и определило.

Начальником был Смирнов. Он посмотрел на Марту – и через минуту был готов помянуться с ней окладом, только бы она не ушла обратно на улицу. Она его потрясла. Сразу и основательно. До глубины души и сознания.

Марта и вправду была хороша. Тот самый удачный случай, когда у ничем не примечательных родителей ребенок берет все самое лучшее и получается произведение. Случайная игра природы. А ведь могло быть все наоборот. Родители внешне были заурядными среднестатистическими людьми, но у мамы были чудесные серые глаза и черные ресницы, а у папы – высокие скулы и тонкий, с горбинкой, нос. Марте все это досталось, и еще достались упрямые и жесткие черные волосы – ни за что не уложишь. Марта вышла из положения, сделав короткий «ежик» – так тогда мало кто носил. В уши вдела тяжелые, крупные серьги, и показалось, будто кто-то долго работал над тем, чтобы получилась такая красота. У всех на голове – жалкая «химия», а у Марты – черная жесткая щетина. Стильно. Еще она любила пестрые длинные юбки «ярусами» и широкие браслеты с крупными цветными камнями. В общем, нездешняя красота.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.